

Л. И. Соболев

Школа

ВДУМЧИВОГО
ЧТЕНИЯ

Путеводитель
по книге

Л. Н. Толстого

«Война и мир»

Часть 1



Программа
«МГУ – школе»

Школа
ВДУМЧИВОГО
ЧТЕНИЯ

L. I. Sobolev

A Guide to
L. N. Tolstoy's
Book
'War and Peace'

Part 1
A manual



Moscow
University Press
2012

Л. И. Соболев

Путеводитель
по книге
Л. Н. Толстого
«Война и мир»
Часть 1
Учебное пособие



Издательство
Московского университета
2012

УДК 82
ББК 83.3 (2Рос-Рус)6
С 54



**Программа «МГУ—школе»
Серия «Школа вдумчивого чтения»**

*Публикуется по решению редакционно-издательского совета
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова*

Редакционная коллегия серии:

Г.Г. Красухин, проф. МПГУ (председатель); А.Н. Матвеева, директор Издательства МГУ (заместитель председателя); Н.А. Богомолов, проф. МГУ; В.Б. Катаев, проф. МГУ; Н.В. Корниенко, гл. научный сотрудник ИМЛИ им. М. Горького, чл.-корр. РАН; В.И. Коровин, проф. МПГУ; Л.В. Кутукова, ведущий редактор Издательства МГУ; О.А. Лекманов, проф. МГУ; Ю.В. Манн, проф. РГГУ; В.А. Недзвецкий, проф. МГУ; Л.И. Соболев, учитель московской гимназии № 1567; Г.М. Степаненко, заместитель главного редактора Издательства МГУ; И.О. Шайтанов, проф. РГГУ

Соболев Л.И.

С 54 Путеводитель по книге Л.Н. Толстого «Война и мир».
Ч. 1: Учебное пособие — М.: Издательство Московского
университета, 2012. — 208 с. — (Школа вдумчивого чтения).
ISBN 978–5–211–05395–3 (ч. 1)
ISBN 978–5–211–05380–9

В первой части путеводителя по книге «Война и мир» рассказано об истории создания книги Льва Толстого, о её жанре, работе писателя с историческими источниками. В путеводителе читатель найдёт очерк толстовской философии истории и отзывы современников о «Войне и мире». Вторая часть представляет собой развёрнутый комментарий по главам. Путеводитель включает Словарь устаревших и малопонятных слов и список рекомендуемой литературы.

Для учителей школ, лицеев и гимназий, студентов, старшеклассников, абитуриентов, филологов и широкого круга читателей.

Ключевые слова: философия истории, Лев Толстой, источники, комментарий к «Войне и миру».

**УДК 82
ББК 83.3 (2Рос-Рус)6**

ISBN 978–5–211–05395–3 (ч. 1)
ISBN 978–5–211–05380–9

© Издательство Московского
университета, 2012

Содержание

<i>От редакционной коллегии</i>	6
Предисловие	7
История создания	11
О жанре	46
Смысл заглавия	60
Философия истории	66
Работа с источниками	84
Современники читают «Войну и мир»	128
<i>Рекомендуемая литература</i>	177
<i>Словарь устаревших и малопонятных слов.</i>	179
<i>Список условных сокращений</i>	201
<i>Summary</i>	206

От редакционной коллегии

Серия «Школа вдумчивого чтения» включает в себя книги — путеводители по произведениям, входящим в обязательный школьный стандарт, и потому она обращена прежде всего к преподавателям средней и высшей школы, студентам и учащимся.

Как показывает практика, отдаленность во времени затрудняет изучение того или иного произведения (особенно классического) из-за непроясненности реалий, истолкование которых не встретишь не только в комментариях к тексту в собраниях сочинений писателя, но и в специально написанных комментариях к данному произведению.

И не одна лишь отдаленность во времени диктует необходимость в таких книгах. Даже современная литература подчас несет на себе оттенки местного колорита, или, как говорил Тютчев, «гения места», который требует непрерывного подробнейшего разъяснения.

Читатель найдет в путеводителе абсолютно все необходимые ему сведения — от особенностей жанра данного произведения, истолкования его стиля и персонажей, объяснения всех его так называемых «тёмных мест» до рекомендательного списка обязательной литературы. Наши книжки помогут абитуриентам подготовиться к экзаменам: некоторые задания ЕГЭ станут яснее после чтения предлагаемых комментариев. Таким образом, подобные путеводители явятся пособиями, не имеющими пока аналогов в учебно-познавательной литературе.

Памяти Лизы Безносовой

Цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех её проявлениях. Ежели бы мне сказали, что я могу написать роман, которым я неоспоримо установлю кажущееся мне верным воззрение на все социальные вопросы, я бы не посвятил и двух часов труда на такой роман, но ежели бы мне сказали, что то, что я напишу, будут читать теперешние дети лет через 20 и будут над ним плакать и смеяться и полюблять жизнь, я бы посвятил ему всю свою жизнь и все свои силы...

*Лев Толстой. Письмо П.Д. Боборыкину
(июль—август 1865 г.)*

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Война и мир» — книга особенная, написанная, по счастью, выраженному В.И. Камянова, «каждому на вырост», книга удивительная, пережившая официальное и неофициальное признание, экранизации и инсценировки, удивляющая неискущённых читателей масштабом, а искущённых — дерзостью в подходе к самым заветным темам. Быть может, самой удачной работой о «Войне и мире», адресованной школьникам, стала небольшая книжка С.Г. Бочарова; она начинается с толстовской цитаты: в письме к Н.Н. Страхову (26 апреля 1876 г.) Толстой писал, что «для критики искусства нужны люди, которые бы показывали бессмыслицу отыскивания мыслей в художественном произведении и постоянно руководили бы читателей в том бесчисленном лабиринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусства, и по тем законам, которые служат основанием этих сцеплений». С.Г. Бочаров

и «руководит читателей» в этом «лабиринте сцеплений»: его работа не только не устарела с 1963 года, но выдержала четыре переиздания.

Первая часть предлагаемого сочинения посвящена некоторым вводным и важным аспектам: истории создания книги и её жанровому своеобразию, смыслу заглавия и философии истории Толстого, принципам и приёмам работы Толстого с источниками. Особенно важны, на наш взгляд, суждения современников — и прежде всего их неприятие. Как правило, современников раздражает и отталкивает именно то, что впоследствии будет признано новаторством и открытием писателя — так было с «Евгением Онегиным», «Ревизором», «Грозой»; так было и с «Войной и миром».

Вторая часть — комментарий по главам. Он принципиально отличается от всех предшествующих. Мы убеждены, что книга Толстого не является историческим источником (о чём неоднократно писал сам её автор), и поэтому мы комментируем (кроме реалий, необходимых для понимания книги) только то, что могло быть известно Толстому — нет нужды сопоставлять это с новейшими выводами историков. Толстой не читал сочинений Е.В. Тарле, и читатель не должен ожидать, что в нашей книге он найдёт ссылки на новейшие выводы историков войны 1805—1807 или 1812 года (исключение сделано для масонства: его обрядность и догматы поясняются с использованием позднейших исследований).

Мы стремились везде, где это возможно, привести источники тех или иных реалий и суждений из книги Толстого; правда, речь идёт (за редкими исключениями) только о сочинениях на русском языке. Без сомнения, обращение к французским и немецким книгам (особенно к трудам Тьера) дало бы такой же по объёму материал для сопоставления. В нашем комментарии много цитат — это не случайно: мы старались показать, как работает Толстой с источниками (в соответствующем разделе первой книжки), и дать материал для такой работы учителю и ученику. При этом следует помнить, что многое пришло из неизвестных нам печатных и рукописных текстов, а многое — из устных преданий, и потому не зафиксировано нигде, кроме, может быть, мемуаров, безусловно доверять

которым было бы наивным. Но привязывать все реалии книги к источникам тоже неверно: скажем, *Радожницкий* [Т. 1. С. 165—166] рассказывает о своём сне, в котором он собирается убить Наполеона (подобный сон видел и А.С. Фигнер, который, как сообщает *Давыдов* [Ч. I. С. 13], вызывался убить императора французов); некорректно выводить из этого источника намерение Пьера Безухова убить французского императора — Толстому едва ли нужна здесь чья бы то ни было подсказка¹. Или ещё пример: *Рязанцев* [С. 34] описывает «господина в белой пуховой шляпе с широкими полями и низкой тульей» — возможно, белая шляпа Пьера, отправившегося на Бородинское поле, — шляпа, привлекающая всеобщее внимание, — попала в книгу именно отсюда — но, конечно, это невозможно доказать. Следует добавить, что Толстой пользовался историческими материалами и для неисторических персонажей — как указывает В.И. Щербаков, дневник Пьера восходит к «Дневнику» и «Исповеди» масона П.Я. Титова; известно также, что в «Войне и мире» использованы письма М.А. Волковой [*Щербаков*. С. 143—144].

Б.М. Эйхенбаум писал в книге о Толстом 1860-х годов, что нужно «понять и интерпретировать текст Толстого конкретными и современными ему текстами. <...> Важен *смысл* сходства, а не происхождение его» [*Эйхенбаум—1931*. С. 306—307]. Наша задача иная — указать источники тех или иных реалий «Войны и мира», дав тем самым возможность понять смысл использования и трансформации «матерьяла», как писал В.Б. Шкловский.

Комментарий, на наш взгляд, должен не толковать, а давать материал к истолкованию текста — по недостатку места мы во второй книжке, как правило, не ссылаемся даже на самые важные трактовки тех или иных сцен, персонажей, событий, встречающиеся в многочисленных исследованиях «Войны и мира». Нет места в комментарии и для полемики: читатель сам при желании может сопоставить нашу книгу с работами предшественников. Нам пришлось отказаться и от словаря имён (см., напри-

¹ Впрочем, в черновом варианте Долохов предлагал Кутузову накануне Бородинского сражения убить Наполеона (разговор происходил в присутствии Пьера) [*ЛСС—90*. Т. 14. С. 101].

мер, словарь «Наполеоновские войны 1799—1815», составленный К.А. Залесским [М., 2003]), а Словарь устаревших и малопонятных слов поместить в первой книжке. Даты (если это не оговаривается) даются по старому стилю. Топонимы, как правило, поясняются лишь в том случае, если местности, ими обозначаемые, носят сейчас другое название. Все цитаты даются в основном по современной орфографии и пунктуации, курсив авторов, разрядка — наша. В настоящих примечаниях учтены комментарии к предшествующим изданиям «Войны и мира», особенно работы Г.В. Краснова, Н.М. Фортунатова и А.М. Ранчина. Список рекомендуемой литературы дан в конце первой части (перед Словарём); в каждой книжке, кроме того, помещён список используемой литературы. Существует множество изданий «Войны и мира» — поэтому, цитируя книгу Толстого, мы не ссылаемся на какое-либо определённое издание (с указанием тома и страницы), а указываем том, часть и главу. По той же причине при цитировании писем указываются дата и адресат.

Автор считает своим приятным долгом выразить благодарность А.А. Бонч-Осмоловской, В.А. Мильчиной, А.Б. Морозу, Н.Г. Охотину, Т.А. Приведенцевой, А.М. Ранчину, Н.В. Соболевой, А.Н. Формозовой, Н.Ю. Шведовой, А.П. Швырёву, Т.Н. Эйдельман, а также сотрудникам РГАЛИ за помощь в работе над этой книгой. Особенная признательность А.Л. Соболеву, неизменно участвовавшему в этой работе.

Закончим эту прамбулу отличной фразой из старой книги В.Б. Шкловского: «“Война и мир” для Толстого — полная и безусловная удача, поэтому мы не судим Толстого и не упрекаем его в чём-нибудь, а только выясняем обстановку этой удачи» [*Шкловский—1928* С. 36].

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

В наброске предисловия к публикации «Тысяча восемьсот пятого года» в *PВ* (черновик этот можно датировать последними месяцами 1864 года) автор пишет (текст Толстого набран курсивом, наш комментарий — обычным шрифтом):

«В 1856 году я начал писать повесть с известным направлением, героем которой должен был быть декабрист, возвращающийся с семейством в Россию».

Речь идёт о романе «Декабристы», задуманном, вероятно, именно в 1856 году, когда осуждённые Николаем I и амнистированные — через тридцать лет — Александром II декабристы возвращались из Сибири; первые записки к роману появились в 1860 году. 14 (26) марта 1861 года Толстой писал Герцену: «Я затеял месяца четыре тому назад роман, героем которого должен быть возвращающийся декабрист. <...> Декабрист мой должен быть энтузиаст, мистик, христианин, возвращающийся в 56 году в Россию с женой, сыном и дочерью и примеряющий свой строгий и несколько идеальный взгляд к новой России». Были написаны три главы романа (напечатаны только в 1884 году) — важно остановиться на начале первой главы, беспощадно ироническом, сталкивающем два времени — 1812 год, «когда <...> мы отшлёпали Наполеона I», и 1856 год, когда «нас отшлёпал Наполеон III» [*ПСС—100*. Т. 4. С. 180]. Противопоставление эпох не случайно: Толстой резко отрицательно относится к современности — с её журналами, «вопросами» («как называли в пятьдесят шестом году все те стечения обстоятельств, в которых никто не мог добиться толку»), со всё растущим значением разночинной интеллигенции, с идеей женской эман-

сипации; при этом он «как будто не допускает мысли, чтобы что-нибудь важное прошло без его участия или вмешательства, — пронизательно писал Б.М. Эйхенбаум в 1935 году. — Когда идёт Крымская война, он едет в Севастополь и пишет военные рассказы. Когда начинается спор об “отцах и детях”, он пишет повесть “Два гусара”. Когда возникает полемика о “чистом искусстве”, он пишет повесть “Альберт”. Когда поднимается вопрос о женской эмансипации, он пишет роман “Семейное счастье”. Когда все начинают говорить о “народе”, он бросает литературу, становится сельским учителем и пишет памфлет под заглавием “Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?”» [Эйхенбаум—1969а. С. 80].

Противопоставление двух эпох — в пользу старой, прошедшей — в повести «Два гусара» (1856) очевидно: уже в зачине повести автор, обращаясь к 1800-м годам, заметит, что тогда ещё не было «ни разочарованных юношей со стёклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камелий, которых так много развелось в наше время», но зато «отцы наши» «стрелялись из-за женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки», а «прелестные дамы-камелии прятались от дневного света». Один из ранних вариантов начала будущей книги «Война и мир» построен сходным образом: «Это было между Тильзитом и пожаром Москвы в то время, когда всё в Европе думало, говорило и чувствовало только про Наполеона, когда у нас в России во всех семействах хвастались друг перед другом своими французскими гувёрнёрами, дамы в Петербурге бегали за секретарями французского посольства, когда все говорили по-французски лучше самих французов, все завидовали, боялись и спорили за французов и Наполеона. Это было в то время, когда карта Европы перерисовывалась разными красками каждые две недели и итальянцы, испанцы, бельгийцы, голландцы, вестфальцы, поляки и особенно немцы никак не могли понять, к какому, наконец, они принадлежат государству, чей мундир им надо носить, кому преимущественно подражать, льстить и кланяться» и т.д. [ПСС—90. Т. 13. С. 58].

С Герценом Толстой познакомился в Лондоне, в марте (по европейскому календарю) 1861 года. Среди разговоров «всяких и интересных» [ПСС—90. Т. 75. С. 71] речь шла, по-видимому, и о декабристах. Для Герцена «люди 14 декабря» — это «фаланга героев, выкормленных, как Ромул и Рем, молоком дикого зверя... Это какие-то богатыри, кованные из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтоб разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рождённых в среде палачества и раболепия» [Герцен. Т. 16. С. 171]. Для Толстого — это люди заблуждавшиеся и осознавшие свои заблуждения.

«Невольню от настоящего я перешёл к 1825 году, эпохе заблуждений и несчастий моего героя, и оставил начатое. Но в 1825 году герой мой был уже возмужалым семейным человеком. Чтобы понять его, мне нужно было перенестись к его молодости, и молодость его совпала со славной для России эпохой 1812 года. Я другой раз бросил начатое и стал писать со времени 1812 года, которого ещё запах и звук слышны и милы нам, но которое теперь уже настолько отдалено от нас, что мы можем думать о нём спокойно».

Об «эпохе заблуждений и несчастий» своего героя Толстой не написал в 1863 году, когда стал работать над будущей «Войной и миром» (вначале книга называлась «Три поры» — 1812, 1825, 1856), ничего. Как пишет Кэтрин Фойер, «предложенное Толстым объяснение перехода к 1812 г. нельзя принимать на веру, потому что биография Лабазова <героя “Декабристов”>. — Л.С.> намечена довольно подробно, и его политические взгляды сложились во время службы в Семёновском полку (из которого вышли многие декабристы), во время пребывания в Париже, а также под влиянием масонства — не во время Наполеоновских войн (тем более что участие в них значило бы, что в 1856 г. ему было уже под семьдесят)» [Фойер. С. 61].

Возможно, на выбор 1812 года повлиял исторический и литературный контекст: в 1862 году отмечалось пятидесятилетие Отечественной войны и — в августе — 50-я годовщина Бородинской битвы; вышло множество исторических сочинений, среди которых можно назвать книгу М.А. Корфа о Сперанском (1861) и книгу М.П. Погодина о Ермолове (1863) — обе книги понадобились для работы

над «Войной и миром». Повышенный интерес к истории был связан, по-видимому, с самосознанием современников, ощущавших своё время как переломное, историческое — с 1863 года начинает выходить журнал «Русский архив», с издателем-редактором которого, П.И. Бартеневым, Толстой в эти годы регулярно переписывается и видится во время поездок в Москву.

В сентябре 1863 года Толстой работает над романом из эпохи 1812 года — об этом свидетельствуют и письма А.Е. Берса, отца С.А. Толстой, и письмо Е.А. Берс, старшей сестры С.А. Толстой, — она посылает в Ясную Поляну список книг, «в которых говорится что-нибудь о 12-м годе» [ЛСС—90. Т. 16. С. 24; статья Э.Е. Зайденшнур «История писания и печатания “Войны и мира”»]. А в конце октября 1863 г. Толстой пишет А.А. Толстой: «Я никогда не чувствовал свои умственные и даже все нравственные силы столько свободными и столько способными к работе. И работа эта есть у меня. Работа эта — роман из времени 1810 и 20-х годов, который занимает меня вполне с осени <...> Я теперь писатель *всеми* силами своей души, и пишу и обдумываю, как я ещё никогда не писал и не обдумывал». Работа эта так захватила Толстого, что он почти не вёл Дневника во всё это время.

Первый год работы (с февраля 1863 до начала 1864 года) — это поиски начала книги; сохранилось 15 вариантов начальных страниц будущего сочинения: в первых трёх действия начинается в 1811 году, четвёртое представляет собой обзор событий «между Тильзитом и пожаром Москвы»; в пятом и шестом действие отнесено к 1808 году, а уже в седьмом — к ноябрю 1805 года.

«Но и в третий раз я оставил начатое, но уже не потому, чтобы мне нужно было описывать первую молодость моего героя, напротив: между теми полуисторическими, полубожественными, полувозвышенными великими характерными лицами великой эпохи личность моего героя отступила на задний план, а на первый план стали, с равным интересом для меня, и молодые и старые люди, и мужчины, и женщины того времени».

Пьеру в 1805 году двадцать лет; следовательно, если видеть в Пьере будущего Петра Лабазова, в 1856 году ему будет уже не «под семьдесят», а «за семьдесят», т.е. 71 год.

Впрочем, Толстой не сразу расстался с мыслью довести повествование до 1856 года: «Тем, кто знал князя Петра Кирилловича Б. в начале царствования Александра II, в 1850-х годах, когда Петр Кириллыч был возвращен из Сибири белым как лунь стариком, трудно бы было вообразить себе его беззаботным, бестолковым и сумасбродным юношей, каким он был в начале царствования Александра I <...>» [ЛСС—90. Т. 16. С. 44].

Важнее другое — Пьер перестал быть главным героем, перестал быть героем романа; он стал одним из героев книги другого жанра — эпопеи. Именно со сменой жанра происходит описанное Толстым изменение: появился равный интерес для автора к молодым и старым людям, мужчинам и женщинам того времени. Об этом — позднее, но сам момент смены жанра следует отметить.

«В третий раз я вернулся назад по чувству, которое, может быть, покажется странным большинству читателей, но которое, надеюсь, поймут именно те, мнением которых я дорожу; я сделал это по чувству, похожему на застенчивость и которое я не могу определить одним словом. Мне совестно было писать о нашем торжестве в борьбе с бонапартовской Францией, не описав наших неудач и нашего срама. Кто не испытывал того скрытого, но неприятного чувства застенчивости и недоверия при чтении патриотических сочинений о 12-м годе. Ежели причина нашего торжества была не случайна, но лежала в сущности характера русского народа и войска, то характер этот должен был выразиться ещё ярче в эпоху неудач и поражений».

В черновых рукописях об Аустерлицком сражении написано очень резко: Толстой, цитируя историков, говорит, что «колонны наши, задержанные непредвиденными обстоятельствами, приходили часа по полтора после другой», и издевательски спрашивает: «Была ли когда война в России после Екатерины и до Александра II, чтобы колонны наши не были задержаны непредвиденными обстоятельствами? Давно бы пора предвидеть и расстреливать эти непредвиденные обстоятельства, ибо такие непредвиденные обстоятельства стоят из-за лени, необдуманности, легкомыслия двух-трёх — жизни десяти тысяч и позора миллионам». И далее так же жёстко продолжает:

«Те, которые были причиною этого, австрийские колонновожатые, на другой день чистили себе ногти и отпустили немецкие вицы <шутки. — Л.С.> и умерли в почестях и своей смертью, и никто не позаботился вытянуть из них кишки за то, что по их оплошности погибло двадцать тысяч русских людей и русская армия надолго не только потеряла свою прежнюю славу, но и была опозорена» [ПСС—90. Т. 13. С. 144—145].

Но был не менее болезненный повод вспоминать о «наших неудачах и нашем сраме» — поражение в Крымской войне, в которой Толстой участвовал и которую описал в «Севастопольских рассказах».

«Итак, от 1856 года возвратившись к 1805 году, я с этого времени намерен провести уже не одного, а много моих героинь и героев через исторические события 1805, 1807, 1812, 1825 и 1856 года. Развязки отношений этих лиц я не предвижу ни в одной из этих эпох» [Там же. С. 54—55].

В пятнадцатом варианте действие начинается в салоне Annette D. — это уже похоже на знакомый нам текст. С 1864 до начала 1867 года Толстой работает над первой ранней редакцией (она опубликована в 94-м томе «Литературного наследства» в 1983 году): князь Андрей остаётся жив, Петя Ростов тоже, в один день сыграны две свадьбы — Николая с княжной Марьей и Пьера с Наташей. «Николай уехал в полк и с полком вошёл в Париж, где он вновь сошёлся с Андреем. <...> Во время их отсутствия Риеге, Наташа, графиня (теперь) Марья с племянником, старик, старуха и Соня прожили всё лето и зиму 13 года в Отрадном и там дождались возвращения Nicolas и Андрея» [ЛН. С. 730].

Заметим, что возникает дистанция между временем создания книги и временем действия в ней — признак, характерный для эпопеи. И то что автор не предвидит возможности романной развязки в своём произведении, тоже не случайно: Толстой вновь и вновь возвращается к мысли, что пишет не роман. 3 января 1865 г. он просит М.Н. Каткова, редактора *PВ*, где будет напечатан «Тысяча восемьсот пятый год», «не называть моего сочинения романом» — но просьба автора не была исполнена. В двух первых номерах *PВ* за 1865 год напечатаны первые 38 глав (в современном издании — первые 25 глав) книги; группы

глав озаглавлены — «В Петербурге», «В Москве», «В деревне»; в феврале, марте и в апреле 1866 года была напечатана вторая часть книги под заглавием «Война» (24 главы) — на этом журнальная публикация прекратилась; Толстой стал готовить отдельное издание всей книги (теперь уже под заглавием «Война и мир»). Кстати, во второй и четвёртой книгах журнала за 1866 год Толстой оказался под одной обложкой с Достоевским — Катков печатал роман «Преступление и наказание» (правда, Достоевскому он платил не 300 рублей за лист, как Толстому, а вдвое меньше). Первоначально готовился договор с Катковым на печатание книги в его типографии; вскоре был заключен договор с владельцем типографии Ф.Ф. Рисом (посредником между автором и Рисом согласился стать Бартенев²), и первое издание «Войны и мира» начало выходить с декабря 1867 года.

Собственно, с 1867 года начинается третий этап работы Толстого над «Войной и миром» — от ранней редакции к окончательному тексту. Последний — шестой — том выходит в конце 1869-го; ещё до окончания работы потребовалось второе издание — в 1868-м были напечатаны четыре первых тома (с незначительными разночтениями по сравнению с первым изданием); пятый и шестой тома печатались сразу двумя тиражами.

В начале 1873 года предпринято третье издание «Войны и мира», для которого текст был заново исправлен, распределён по четырём томам вместо шести, «рассуждения» (авторские отступления) были собраны в конце книги под заглавием «Статьи о кампании 1812 года», причём часть историософских (историко-философских) отступлений была просто исключена. Французский текст был везде заменён русским.

² 18 декабря 1867 года он писал П. Вяземскому: «Вчера я послал Вашему сиятельству три части романа Толстого — первый экземпляр, который прошу принять от меня как святочное приношение. Моё участие тут только печатание (отнюдь не денежная часть), так как сочинителя нет в Москве, и надзор, чтобы не было слишком явных исторических неверностей. Это опять больше психологический роман» [РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. 1407. Л. 70]. Бартенев получал от Толстого 10% стоимости тиража «за публикации, продажу и склад книг» [Толстой — С.А. Толстой 22 июня 1867 года].

Отступление о том, как говорят в «Войне и мире»

Это было вызвано многочисленными претензиями к автору. П. Щебальский отмечал «всеобщий лепет на языке, представляющем смесь “французского с нижегородским”» [*РВ*. 1868. № 1. С. 301]. Грибоедовское выражение припомнилось и А. Пятковскому: «Герои гр. Толстого большею частью упражняются в стрельбе, то есть находятся на войне; в мирное время они съезжаются то у фрейлины Шерер, то у гостеприимных графов Ростовых (семейство очень любезное автору), пьют, едят, часто танцуют и болтают на ужасном французско-нижегородском наречии самые незначительные и пустые вещи» [*Неделя*. 1868. № 26. Стб. 826].

Отвечая на эти претензии, Толстой писал в статье «Несколько слов по поводу книги “Война и мир”»: «Упрёк в том, что лица говорят и пишут по-французски в русской книге, подобен тому упрёку, который бы сделал человек, глядя на картину и заметив в ней чёрные пятна (тени), которых нет в действительности. Живописец неповинен в том, что некоторым — тень, сделанная им на лице картины, представляется чёрным пятном, которого не бывает в действительности; но живописец повинен только в том, ежели тени эти положены неверно и грубо. Занимаясь эпохой начала нынешнего века, изображая лица русские известного общества, и Наполеона, и французов, имевших такое прямое участие в жизни того времени, я невольно увлёкся формой выражения того французского склада мысли больше, чем это было нужно. И потому, не отрицая того, что положенные мною тени, вероятно, неверны и грубы, я желал бы только, чтобы те, которым покажется очень смешно, как Наполеон говорит то по-русски, то по-французски, знали бы, что это им кажется только оттого, что они, как человек, смотрящий на портрет, видят не лицо с светом и тенями, а чёрное пятно под носом». Иными словами, эти читатели не улавливают ожидаемого автором впечатления — именно его он и пытался создать чередованием русского языка с французским.

В ответ на авторское объяснение рецензент газеты «Голос» писал: «Заметим автору, что в книге его странным кажется не это употребление французских фраз вместе

с русскими, а чрезмерное, сплошное наполнение французской речью целых десятков страниц сряду. Для того чтоб показать, что Наполеон или какое-либо другое лицо говорит по-французски, достаточно было бы одну первую его фразу написать по-французски, а остальные по-русски, исключая каких-либо двух-трёх особенно характеристических оборотов, и мы без труда догадались бы, что вся тирада произнесена на французском языке» [«Голос». 1868. № 105]. Это критик доброжелательный — он даёт совет автору, так как лучше Толстого знает, как тому следует писать. А вот критик строгий — он тоже знает всё лучше автора, поэтому и предьявляет претензии: «<...> мы бы желали знать, почему вздумалось гр. Толстому испестрить свой роман французскими фразами? Нельзя же требовать от каждого русского читателя, чтобы он знал непременно французский язык; но, вероятно, автор это сделал для колорита, рисуя перед нами тогдашнее высшее общество, в котором преобладал французский язык» [«Петербургская газета». 1869. № 4. С. 1].

Смысл «двуязычия» «Войны и мира» объяснил В.В. Виноградов в статье «О языке Толстого». По мнению исследователя, «Толстой видел в этом двуязычии симптом стилистической достоверности исторического романа, залог его соответствия стилю изображаемого времени и воспроизводимой среды» [Виноградов. С. 123]. Автор статьи обнаруживает галлицизмы в языке повествователя: «В то время как Ростов *делал эти соображения* <...>» [Т. 1. Ч. 3. Гл. XVIII]; «появились опять тузы, *дававшие мнение* в клубе» [Т. 2. Ч. 1. Гл. II]; «Сперанский с глазу на глаз, приняв Болконского, *...сделал сильное впечатление* на князя Андрея» [Т. 2. Ч. 3. Гл. VI].

Разумеется, французская речь, как и галлицизмы, чрезвычайно важна для характеристики персонажа — иногда это подчёркнуто автором — так, например, после реплики Пьера, обращённой к Анатолю Курагину: «Вы негодяй и мерзавец, и не знаю, что меня *в о з д е р ж и в а е т* от удовольствия разmozжить вам голову вот этим», — Толстой прибавляет: «говорил Пьер, выражаясь так искусственно потому, что он говорил по-французски» [Т. 2. Ч. 5. Гл. XX]. И, конечно, вполне прозрачен комический эффект сцены на вечере у Жюли Карагиной, отказав-

шейся от французского языка и не умеющей изъясниться по-русски: «Вы никому не делаете милости», «Безухов est ridicule, но он так добр, так мил. Что за удовольствие быть так caustique?» [Т. 3. Ч. 2. Гл. XVII] — красноречиво её восклицание после очередной французской фразы: «Но как же это по-русски сказать?» [*Там же*].

Князь Василий произносит: «вы мне подите говорить» — это не единственный галлицизм в речи героя, который «говорил на том изысканном французском языке, на котором не только говорили, но и думали наши деды» [Т. 1. Ч. 1. Гл. I]. Так же говорит и А.П. Шерер: в одном из черновых набросков Толстой подробно расшифровал особенность речи этого персонажа: «Говорила она, разумеется, не на своем языке, а на французском, и на французском одного известного мира, наследовавшего этот род языка от дворов Людовиков. На выражение каждой мысли, даже каждого чувства, были свои готовые, грациозные и красивые, формы, и естественно, что она употребляла их, придавая им, как умная женщина, свой личный характер» [*ПСС—90*. Т. 13. С. 74]. Для автора важна и речевая деталь: он иронизирует над произношением хозяйки петербургского салона: «<...> она почему-то выговаривала l'Угоре как особенную тонкость французского языка, которую она могла себе позволить, говоря с французом» [Т. 2. Ч. 2. Гл. VI].

В.Б. Шкловский писал: «Л.Н. Толстой ввёл этот язык в свой роман из соображений классовых. Это ориентация на читателя определённого круга, заявление о своей принадлежности к группе *somme il faut* и вызов остальным группам. Так и восприняли дело толстовские современники, которые, просто говоря, обиделись на французский язык в таком чрезвычайном количестве» [*Шкловский—1928*. С. 207]. В подтверждение своего суждения исследователь приводит отрывок из чернового наброска предисловия: «В сочинении моём действуют только князья, говорящие и пишущие по-французски, графы и т.п., как будто вся русская жизнь того времени сосредоточивалась в этих людях. Я согласен, что это неверно и нелиберально, и могу сказать один, но неопровержимый ответ. Жизнь чиновников, купцов, семинаристов и мужиков мне неинтересна и наполовину непонятна, жизнь аристократов

того времени, благодаря памятникам того времени и другим причинам, мне понятна, интересна и мила» [*ПСС—90*. Т. 13. С. 55]. Приведём отзыв Н.И. Соловьёва, весьма благожелательно оценившего «Войну и мир», «это высокозамечательное явление литературы» [*Соловьёв*. С. 171]. Упрекая автора в преимущественном интересе к персонажам-аристократам в ущерб изображению народа, критик замечает, что «внутреннюю-то жизнь тогдашнего аристократического общества он изображает с особенною тщательностью: не считает даже излишним приводить вполне и длинных французских разговоров и переписки. Положим, что ко всему этому приложен подстрочный перевод. Но перевод этот, во-первых, не из самых совершенных; а разбросанный в массе примечаний, он для не знающего французского языка может только служить ослаблением художественного впечатления, производимого целым произведением» [*Там же*. С. 185]. К социальной проблематике книги мы ещё обратимся, а сейчас вернёмся к лингвистической теме.

Б.А. Успенский так формулирует «способы передачи французской прямой речи, которые использует автор “Войны и мира”»: а) непосредственно по-французски; б) в русском переводе; в) в виде смешанного двуязычного текста, когда одна часть фразы даётся по-французски, а другая — по-русски; г) в виде дублирования одного и того же выражения и по-французски, и по-русски (например, Наполеон говорит: «Et vous, jeune homme? Ну а вы, молодой человек?»). Б.А. Успенский приводит интереснейшие примеры диалогов из «Войны и мира», где впечатление, что собеседники говорят на одном языке, разрушается употреблением местоимения — например, Наполеон спрашивает у Лаврушки: «Вы казак?», а тот отвечает: «Казак-с, ваше благородие»; как пишет исследователь, «Наполеон говорит как будто бы на том же языке, что и Лаврушка, но чрезвычайно показательно употребление им личного местоимения “вы”: это буквальный перевод с французского (русский офицер употребил бы в этой ситуации “ты”» [*Успенский*. С. 63—74].

То, что в нашей речи сегодня выглядит грубой речевой ошибкой, то, что всегда исправляют школьные учителя в тетрадях учеников — употребление деепричастий незави-

симо от субъекта действия — нередко встречается у Толстого: «Глядя на знамя, ему всё думалось: может быть, это то самое знамя, с которым мне придётся идти впереди войск» [Т. 1. Ч. 3. Гл. XV] или: «Отъехав с версту, навстречу Ростовской охоте из тумана показалось ещё пять всадников с собаками» [Т. 2. Ч. 4. Гл. IV]. Такой же ошибкой выглядит и соединение определения с придаточной частью: «Люди этой партии, большей частью не военные и к которой принадлежал Аракчеев <...>» [Т. 3. Ч. 1. Гл. IX].

Давно замечено [*Шкловский—1928*], что в «Войне и мире» важно, насколько хорошо герои говорят по-французски. Князь Андрей, произнося фамилию Кутузова, ударяет «на последнем слоге zoff, как француз» [Т. 1. Ч. 1. Гл. IV]; к князю Ипполиту Курагину он обращается «сухо-неприятно и по-русски: “Па-звольте, сударь”» [*Там же*. Гл. VI], причём сразу же «ласково и нежно» (очевидно, тоже по-русски) говорит Пьеру, что ждёт его к себе. Марья Дмитриевна Ахросимова всегда говорила по-русски — и это, бесспорно, существенная деталь в изображении симпатичной автору московской патриархальной барыни; Илья Андреевич Ростов говорил с гостями «иногда на русском, иногда на очень дурном, но самоуверенном французском языке» [Т. 1. Ч. 1. Гл. X] — и эта черта старого патриархального московского графа так же привлекательна для автора (и читателей), как и русский язык Марьи Дмитриевны. А вот несовершенный французский язык Сперанского — знак его разночинского происхождения и деталь, снижающая персонажа, — недаром в черновых записях герой назван ragvenus (выскачка) [*ПСС—90*. Т. 13. С. 23]³.

А у Долохова с французским языком получилось некоторое противоречие: в первом томе, в сцене пирушки у Курагина, сказано, что Долохов «говорил не слишком хорошо на этом языке»; в третьей части четвёртого тома

³ Как пишет Ю.М. Лотман, Толстой был вправе «своего Сперанского <заставить> слишком отчётливо (не *comme il faut*) говорить по-французски. Это Сперанский в романе, и никому нет дела до того, что Сперанский в жизни говорил и писал “по-французски бегло и правильно, как на отечественном языке” (И.И. Дмитриев) не хуже самого Толстого. Правда романа имеет свои законы» [*Лотман Ю. Биография — живое лицо // Новый мир. 1985. № 2. С. 229*].

Долохов с Петей Ростовым отправляются во французский лагерь, где, разумеется, нехороший французский мог бы выдать Долохова, но этого не происходит. Едва ли герой учил французский язык между летом 1805-го и осенью 1812 года — просто Толстому в начале книги было важно то, что Долохов не родовит и беден, но умеет поставить себя не ниже «золотой» молодёжи, а в четвёртом томе было важно, что Долохов любит риск — не только в картах, но и в других обстоятельствах.

Для Шиншина, соединявшего «(в чём и состояла особенность его речи) самые народные русские выражения с изысканными французскими фразами», эта манера говорить была такой же памятной деталью (её трудно понять однозначно), как и верхняя губка княгини Лизы Болконской; так же характерны *mots* (словечки) Билибина, как его «крупные морщины, которые всегда казались так чисто и старательно промыты, как кончики пальцев после бани» — как помнит читатель, «движения этих морщин составляли главную игру его физиономии» [Т. 1. Ч. 2. Гл. X]. Билибин говорит по-французски, «произнося по-русски только те слова, которые он презрительно хотел подчеркнуть» — и пока его ирония направлена на австрийцев, она не унижает героя; даже в день Бородинского сражения в салоне А.П. Шерер он цитирует дипломатическую ноту (им составленную), при которой император отправляет в Австрию взятые в бою австрийские «заблудившиеся» знамёна — ирония вполне уместная, хотя то, что герой не чувствует общей опасности для «роя», делает его чужим и далёким для автора.

И, конечно, понятна функция изломанной речи Ипполита (как пишет Толстой, Ипполит путался «языком так же, как и ногами»), когда тот рассказывает свою историю («по-русски таким выговором, каким говорят французы, пробывшие с год в России»): «В Moscou есть одна барыня, *une dame*. И она очень скупа. Ей нужно было иметь два *valets de pied* за карета. И очень большой ростом. Это было её вкусу. И она имела *une femme de chambre*, ещё большого росту <...>» — вспомним, что и князь Андрей, и сам автор называют Ипполита идиотом.

Как заметил Шкловский, Толстой подчёркивает картавость м-ль Бурьен и «слишком отчётливую артикуляцию»

Наполеона, не используя возможности его итальянского акцента [*Шкловский—1928*. С. 211—212]. Всё это — приёмы индивидуализации персонажа (при этом картавость Денисова ничуть не снижает персонажа, а скорее придаёт его речи домашнюю и симпатичную окраску) — так же, с явной снижающей окраской, дана в книге немецкая речь (князь Андрей, услышавший диалог Клаузевица и Вольцогена, повторяет с раздражением: «Да, im Raum verlegen, — повторил, злобно фыркая носом, князь Андрей, когда они проехали. — Im Raum-то у меня остался отец, и сын, и сестра в Лысых Горах» [Т. 3. Ч. 2. Гл. XXV]). Комична речь Карла Богданыча Шуберта, командира Павлоградских гусар — и на именинном обеде у Ростовых («Мы должны драться до последнэ капли кров, — сказал полковник, ударяя по столу, — и умэр-р-рэт за своэго импэратора, и тогда всэй будэт хорошо»), и при переправе через Энс («Кто велено?», «Я буду мост зажигайт»).

Толстой весьма внимателен к слову — необычному, и поэтому выделенному: «...у тебя может сделаться п н е в м о н и я — говорила графиня, и в произношении этого непонятого не для неё одной слова она уже находила большое утешение» [Т. 3. Ч. 1. Гл. XVI]. Или в сцене приезда Александра I в Москву: «Дьячок несколько раз повторял слово *соборне*, которого не понимал Петя» [Т. 3. Ч. 1. Гл. XXI]. Слово может быть вообще на границе с заумью — Наташа говорит про Бориса Друбецкого, что он «узкий, знаете, серый, светлый», а Безухов — «тот синий, темно-синий с красным, и он четвероугольный»; мать её не понимает, и Наташа говорит: «Николенька бы понял» — есть в семье слова, которые понятны только самым близким людям [Т. 2. Ч. 3. Гл. XIII].

Роль специального, профессионального слова отлично выразил С.Г. Бочаров: «Оказывается, существует специальный строй языка, и он появляется в авторской речи с первых же строк эпизода охоты, в описании времени года: “Русак уже до половины затёрся (перелинял)...”. Автор <...> сам охотник в том языке, которым ведётся рассказ, так что его собственное отношение к происходящим событиям глубоко серьёзно и очень заинтересованно. Автор будто предполагает в читателях понимающих охотников, а для непосвящённых он, словно из снисхождения, в скоб-

ках дает перевод специальных терминов. Иногда перевода нет, он и не нужен: “Один счастливый дядюшка слез и отпазанчил”.

Какое великолепное торжество в этом непонятном слове — именно благодаря его непонятности, выражающей так совершенно дядюшкин триумф и жизненную справедливость, будто предрешившую его победу над “тысячными” охотниками, — что всякое общедоступное слово здесь будет неточным и слабым. И когда Николай мысленно поправляет строго сестру: “Трунила, во-первых, не собака, а выжлец”, — он оберегает тот уровень понимания и контакта, который возможен между охотниками и символизирован, в частности их особым жаргоном» [Бочаров—1963. С. 27].

Сейчас, когда из исследований художественной речи Толстого можно составить целую библиотеку, любопытно читать такие, например, замечания: «Толстой нисколько не стесняется в выражениях и употребляет буквально такие фразы, которые, кажется, ещё не бывали в печати; например, <опускаем номера страниц. — Л.С.> фельдфебель, унимая руготню солдат, кричит им: “Вы чего? Господа тут, в избе сам анарал, а вы *матершинники* (!!!) и проч.”. Потом он же говорит: “А, вишь, *сукин сын* (!) Петров остался-таки”... Впрочем, в одном месте, дойдя уже до невозможного, автор заменил ругательство кн. Кутузова только начальными буквами и точками <...> [«Петербургская газета». 1870. № 2. С. 3]. Далее автор в качестве невозможных речевых погрешностей приводит такие, например, места: «Слышны были явственно их нерусские крики на *выдиравшихся* в гору лошадей в повозках» и «Будем *совсем, совсем* друзьями».

«Нам кажется, что после Пушкина и Лермонтова, Гончарова и Тургенева писать порядочным слогом — небольшая трудность для даровитого романиста, — замечает критик “Сына отечества” [1870. № 3; подп. -ъ-ъ]. — Между тем что за язык в последнем романе г. Толстого? Речь его там, где идёт рассказ от лица самого автора, сплетается часто из нагромождённых одно на другое предложений в такие безобразные периоды, с таким частым повторением одних и тех же слов, что напоминает невольню средневековую латынь или писание наших старых приказных. <...> И ка-

кой пример подаёт даровитый романист подобной небрежностью молодым писателям?». По поводу последнего замечания (насчёт примера) сейчас можно было бы многое ответить, но нам важно, что речевая манера Толстого была замечена чуткими читателями и не была принята. Даже В.П. Боткин (читатель не просто чуткий, а, можно сказать, изошрённый) писал Фету (14 февраля 1865 г.): «...к чему это обилие французского разговора? Довольно сказать, что разговор шёл на французском языке. Это совершенно лишнее и действует неприятно. Вообще, в языке русском большая небрежность» [*Фет*. Т. II. С. 60].

В 1880 году четвёртое издание вышло идентичным третьему, а пятое (1886) возвратилось к тексту первого издания (с отступлениями и французским текстом), но сохранилось деление на четыре тома — оно и лежит в основе современных изданий «Войны и мира». Вопрос в том, в какой степени Толстой принимал участие в подготовке пятого издания, до сих пор служит предметом спора: как известно, к началу 1880-х годов писатель отказался от своих прежних произведений и не принимал участия в их переиздании, доверив эту работу жене. Подождём выхода соответствующих томов стотомного собрания — они должны стать источником текста для всех дальнейших переизданий; впрочем, редакция 1873 года, которую Н.К. Гудзий [Что считать «каноническим» текстом «Войны и мира» // *Новый мир*. 1963. № 4] предлагает считать «каноническим» текстом «Войны и мира», вышла в составе 25-го тома (вариантов). А пока приведем таблицу соответствий шеститомного и четырёхтомного изданий «Войны и мира»:

Шеститомное издание	Четырёхтомное издание
Т. I — ч. I—II	Т. I — ч. I—III
Т. II — ч. I—II	Т. II — ч. I—V
Т. III — ч. I—III	
Т. IV — ч. I—II	Т. III — ч. I—III
Т. V — ч. I	Т. IV — ч. I—IV
Т. V — ч. II—III	
Т. VI — ч. I—II	

Ещё один важный вопрос, связанный с историей создания «Войны и мира», — это вопрос о прототипах. В многочисленных исследованиях, посвящённых «Войне и миру», преобладает стремление найти прототипы для всех персонажей книги. Это может быть более или менее убедительным, но давайте прислушаемся к словам Толстого.

Когда в *PВ* появились первые главы толстовского «Тысяча восемьсот пятого года», писатель получил письмо от своей дальней родственницы (точнее, свойственницы, жены троюродного брата), Луизы Ивановны Волконской (по мнению некоторых исследователей, некоторые её черты были приданы «маленькой княгине» Lise). Она спрашивала, кто послужил прототипом князя Андрея — Толстой ответил ей любезным письмом.

«Андрей Болконский — никто, как и всякое лицо романиста, а не писателя личностей или мемуаров. Я бы стыдился печататься, ежели бы весь мой труд состоял в том, чтобы списать портрет, разузнать, запомнить, — писал Толстой. — <...> В Аустерлицком сражении, которое будет описано, <...> мне нужно было, чтобы был убит блестящий молодой человек; в дальнейшем ходе моего романа мне нужно было только старика Болконского с дочерью; но так как неловко описывать ничем не связанное с романом лицо, я решил сделать блестящего молодого человека сыном старого Болконского. Потом он меня заинтересовал, для него представлялась роль в дальнейшем ходе романа, и я его помиловал, только сильно ранив его вместо смерти» (3 мая 1865 г.).

Это авторское предупреждение не помешало почти через сто лет — в 1959 году — появиться статье, где в качестве прототипа князя назывался Александр Иванович Михайловский-Данилевский, автор нескольких военных «Описаний...», которыми, как известно, пользовался Толстой в работе над «Войной и миром». Опираясь на биографию военного писателя, помещённую в I томе его Полного собрания сочинений, Н. Торчкова выявляет следующие общие черты князя Андрея и Михайловского-Данилевского: и тот и другой были адъютантами Кутузова (правда, историк не в 1805-м, а в 1812 году); Михайловский-Данилевский составил французское письмо к Мюрату (перед Тарутинским сражением) — князь Андрей, как по-

мнит читатель, в первом томе получает поручение от Кутузова «составить меморийку» [Ч. 2. Гл. III]; кроме того, «большой ум, блестящее образование, знание многих иностранных языков — общие черты обоих» [Торчкова. С. 79]; как и князь Андрей, его предполагаемый прототип «чуждался балов, театров, многочисленных шумных обществ» [С. 80]; и даже в портрете военного историка исследовательница находит сходство с персонажем: «Среднего роста, сухощавый, <...> медленный и важный в движениях, несколько сурового вида, он с первого взгляда казался человеком замечательным»; в молодости «был красив собою, строен и ловок»; «широкий возвышенный лоб придавал им <чертам лица. — Н.Т.> особенное значение, а живой, пронизательный взгляд с улыбкою, несколько насмешливою, движение и одушевлённость» [С. 81]. Впрочем, в статье подчёркивается идейное различие героя и реального лица и следует вывод: «...сходство князя Андрея с Михайловским-Данилевским как одним из его прототипов, разумеется, никак нельзя преувеличивать» [С. 82]. Боюсь, что этот вывод — единственное убедительное суждение во всей статье.

Отрицательное отношение к поискам прототипов своих героев Толстой высказал в статье «Несколько слов по поводу книги “Война и мир”»: «Я бы очень сожалел, ежели бы сходство вымышленных имён с действительными могло бы кому-нибудь дать мысль, что я хотел описать то или другое действительное лицо; в особенности потому, что та литературная деятельность, которая состоит в списывании действительно существующих или существовавших лиц, не имеет ничего общего с тою, которою я занимался.

М.Д. Афросимова и Денисов — вот исключительно лица, которым невольно и необдуманно я дал имена, близко подходящие к двум особенно характерным и милым действительным лицам тогдашнего общества. Это была моя ошибка, вытекшая из особенной характерности этих двух лиц, но ошибка моя в этом отношении ограничилась одною постановкою этих двух лиц; и читатели, вероятно, согласятся, что ничего похожего с действительностью не происходило с этими лицами. Все же остальные лица совершенно вымышленные и не имеют даже

для меня определённых первообразов в предании или действительности».

Денисова, несмотря на предупреждение Толстого, многие склонны отождествлять с Денисом Давыдовым. Так, А.С. Норов в большой статье о «Войне и мире» писал: «Тут же мы видим нашего знаменитого партизана Дениса Давыдова, которого мы долго не хотели узнавать в старом, усатом, пьяном лице буяна Денисова. Могу заверить графа Толстого, что <...> лицо его <Давыдова. — Л.С.> не было ни старое, ни пьяное и что он всегда принадлежал к кругу высшего общества» [*Норов*. С. 26] (это написано после публикации статьи Толстого). Между тем В.Б. Шкловский справедливо заметил: «Денис Давыдов, переписывающийся с Вальтером Скоттом, теоретик партизанской войны, друг Пушкина, <...> этот Денис Давыдов не принял бы в свою компанию Ваську Денисова» [*Шкловский*—28. С. 16]. Толстому явно нужен был не «теоретик партизанской войны, друг Пушкина», принадлежавший «к кругу высшего общества», а тот Васька Денисов, которого знают сотни тысяч читателей.

Но не всё так просто. Как пишет Г.А. Лесскис, Толстой пересказал в «Войне и мире» ««преданья» семейства Волконских-Толстых, а отчасти Берсов и некоторых других своих родных, свойственников и знакомых. Недаром в первых черновиках главные действующие лица так и именуются Волконскими и Толстыми» [*Лесскис*. С. 512; речь идёт о первой черновой рукописи — *ПСС—90*. Т. 13. С. 13]. Во многих книгах вы прочтёте, что в характере старого Болконского отразились черты Н.С. Волконского, деда автора по матери; что Николай Ростов и Марья Болконская — это родители Толстого; что Соня — это Т.А. Ёргольская и т.д. «Толстой, — пишет Г.А. Лесскис, — “лепил” из хорошо знакомого ему жизненного материала. Если нужного материала не доставало, он останавливался. Так произошло с романом из Петровской эпохи, задуманным после “Войны и мира”» [*Лесскис*. С. 514]. А Н. Пузин писал, что в работе над портретами старого князя Болконского и Ильи Андреевича Ростова Толстой опирался на живописные портреты своих дедов [*Пузин*. С. 151—152; см. также: *Манаев*].

Об этом же говорится и в комментариях Н.М. Фортунатова к СС—22: «В основу образов графа и графини Ростовых положены семейные предания о деде Толстого по линии отца — И.А. Толстом и его жене П.Н. Толстой. В “Воспоминаниях” Толстой писал: “Сколько я могу составить себе понятие об её [бабки] характере, она была недалёкая, малообразованная — она, как все тогда, знала по-французски лучше, чем по-русски (и этим ограничивалось её образование), и очень избалованная — сначала отцом, потом мужем, а потом, при мне уже, сыном — женщина... Дед мой Илья Андреевич, её муж, был тоже, как я его понимаю, человек ограниченный, очень мягкий, весёлый и не только щедрый, но бестолково мотоватый, а главное — доверчивый... Кончилось тем, что большое имение его жены всё было так запутано в долгах, что жить было нечем” [ЛСС—90. Т. 34. С. 359]. В черновиках Ростовы назывались первоначально то Толстыми, то графами Простыми, то Плоховыми» [СС—22. Т. 4. С. 382].

Кстати, об именах своих героев Толстой заметил в статье «Несколько слов по поводу книги “Война и мир”»: «Имена действующих лиц: Болконский, Друбецкой, Библибин, Курагин и др. — напоминают известные русские имена. Сопоставляя действующие неисторические лица с другими историческими лицами, я чувствовал неловкость для уха заставлять говорить графа Растопчина с князем Пронским, с Стрельским или с какими-нибудь другими князьями или графами вымышленной, двойной или одинокой фамилии. Болконский или Друбецкой, хотя не суть ни Волконский, ни Трубецкой, звучат чем-то знакомым и естественным в русском аристократическом кругу. Я не умел придумать для всех лиц имён, которые мне показались бы не фальшивыми для уха, как Безухий и Ростов, и не умел обойти эту трудность иначе, как взяв наудачу самые знакомые русскому уху фамилии и переменив в них некоторые буквы». М. Альтман в числе фамилий героев, имевших прототипов, называет Баздеева («именем, отчеством и фамилией полностью соответствует своему прототипу, известному масону Иосифу Алексеевичу Поздееву»), Долохова (Дорохов), Билибина (Билиавский), Вилларского (Виельгорский) [Альтман. С. 11]. Он же считает, что фамилия «Безухов» образована от «Безбородко», а одним

из прототипов Пьера называет Петра Кирилловича Медынского [*Там же*. С. 12]. Но при всей убедительности приведённого сходства имён остаётся вопрос о сходстве характеров.

Ещё в 1931 году Б.М. Эйхенбаум указывал, что «старик Болконский, который до сих пор считается списанным с деда Толстого, <...> списан не только с него, а в гораздо большей степени с фельдмаршала М.Ф. Каменского (старшего), о котором Толстой мог узнать много подробностей и у А.Д. Блудовой, описавшей его в своих воспоминаниях, и у П. Бартенева, напечатавшего в 1868 году письма Каменского к сыну» [*Эйхенбаум—1931*. С. 262]. В комментариях к «Войне и миру» Эйхенбаум цитирует Бартенева: «Если позволительно лиц исторических сравнивать с лицами, созданными художественным творчеством, то нам кажется, что гр. М.Ф. Каменский напоминает чрезвычайно старика кн. Болконского в книге “Война и мир”». Даже и внешняя физиономия, как описывают её люди, знавшие гр. Каменского, удивительно похожа» [*РА*. 1868. Стб. 1493; *Эйхенбаум—1935*. С. 694]. Не буду вмешиваться в спор о прототипах — не хватило бы толстого тома, чтобы изложить все точки зрения, а мне он кажется в принципе бесполезным.

Важно и интересно то, что именно из семейных преданий, документов и материалов отбирает Толстой для своего Николая Андреевича Болконского. Вот черновой набросок: «Князь был свеж для своих лет, голова его была напудрена, частая борода синелась, гладко выбрита. Батистовое бельё манжет и манишки было необыкновенной чистоты. Он держался прямо, высоко нёс голову, и чёрные глаза из-под густых, широких чёрных бровей смотрели гордо и спокойно над загнутым сухим носом, тонкие губы были сложены твёрдо» [*ПСС—90*. Т. 13. С. 81]. Н.Н. Гусев пишет о достаточно полном соответствии этого описания сохранившимся портретам Н.С. Волконского [*Гусев—1954*. С. 32]. И в портрете старого князя Болконского, и в заведённом в его имении порядке, и в его независимости Толстой подчёркивает аристократическую гордость, которую отмечает и у деда, Н.С. Волконского. Здесь особенно интересно (и показательно), что Толстой и в «Воспоминаниях», и в рассказах восхищённо передавал историю

про Н.С. Волконского, отказавшегося жениться на любовнице князя Потёмкина и испытавшего по этой причине опалу. Между тем, как пишет Гусев, при Потёмкине карьера Волконского не останавливалась; в 1779 году, когда В.В. Энгельгардт (любовница Потёмкина) была выдана замуж за князя С.Ф. Голицына, деду Толстого было 26 лет и до чина генерал-аншефа, в котором он и вышел в отставку, ему было ещё далеко [Гусев—1954. С. 29—30]. В отставку он вышел при Павле I в 1799 году — «вероятно, ему тяжело и стеснительно было служить при педантичном, придирчивом самодуре Павле» [Там же. С. 31].

Р. Заборова в статье «Тетради М.Н. Толстой как материал для “Войны и мира”» устанавливает некоторые черты личности матери писателя, как они отразились в её рукописях (хранятся в Российской национальной библиотеке). Это прежде всего сентиментальная культура, в которую была погружена М.Н. Волконская и которая близка — причём не карикатурно, как в случае Жюли Карагиной, а искренне — княжне Марье Болконской. Но, как пишет исследовательница, в ходе работы над книгой некоторые черты прототипа — весёлость, общительность, разносторонность интересов — уступают место другим, более важным для автора: «мы видим характер односторонний, преимущественно олицетворяющий поэзию самоотверженной любви к людям, идеалы нежной чувствительности, покорности и смирения» [Заборова. С. 204].

Б.М. Эйхенбаум писал о патриархальности Ясной Поляны при родителях Толстого как о «фрондирующей», «соединяющей в себе элементы старорусского барства с французской чувствительностью и галантностью» [Эйхенбаум—1928. С. 12]. Толстой рассматривался исследователем как «социальный архаист»: суть позиции писателя в «противопоставлении конкретным историческим оценкам и принципам (“временным”, как сказал бы Толстой) начал абстрактных (“вечных”), составляющих систему *понятий и правил*, которая противостоит всякой системе *убеждений*» [Эйхенбаум—1931. С. 15]. Вдумайтесь в этот тезис и вы поймёте, почему «чудит» старый князь Болконский, почему «не может бояться» князь Андрей, его сын, почему не может остаться в Богучарове его дочь, княжна Марья. Всё, что работает на выражение этой позиции,

принимается писателем из семейных преданий или даже придумывается как предание; всё, что этой позиции противоречит, оставлено, опущено — так что не материал владеет Толстым, а он материалом.

Я убеждён, что для понимания «Войны и мира» нам мало что даст книга Т.А. Кузминской «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» (В.Б. Шкловский не без основания назвал автора «мемуаристом-беллетристом», а книгу — «собранием легенд» [*Шкловский—1928*. С. 122]). Дело в том, что есть два рода прототипов: первый случай — это когда знание первообраза важно для произведения и предполагается автором — в нашем случае это так называемые «исторические лица» «Войны и мира»: Кутузов, Наполеон, Багратион, Дохтуров, Беннигсен и проч. Иными словами, Толстой словно говорит читателям: вы знали Наполеона таким-то, а я вам покажу его другим — каким он, на мой взгляд, и был. Второй — когда, по признанию писателя, его персонажи — «лица совершенно вымышленные» и не имеют «определённых первообразов в предании или действительности» (в письме к А.А. Толстой 18—23 января 1865 г. Толстой признаётся, что он «описывает события и чувства людей, которых никогда не было», и просит полюбить своих героев — «моих этих детей» — «там есть славные люди»). Иными словами, это факт творческой истории произведения: его можно отмечать в комментарии, можно и не отмечать — строго говоря, для понимания произведения знать прототип капитана Тушина или Денисова необязательно.

Впрочем, иногда поиски прототипов бывают интересны не только для авторов (это мне кажется очевидным), но и для читателей. Я имею в виду небольшую книжку В.Л. Кучина «Капитан Тушин из “Войны и мира” в романе и в жизни» [М., 1999]. Автор этой книги начал восстанавливать по архивам свою родословную и обнаружил среди своих достойных предков участника Аустерлицкого сражения, конной артиллерии штабс-капитана Александра Ивановича Кучина. Оказывается, в 1850 году, когда Толстой служил письмоводителем в канцелярии Тульского дворянского депутатского собрания, в эту канцелярию подал прошение о причислении к тульскому дворянству с женой и детьми А.И. Кучин. Таким образом, будущий пи-

сатель мог с очень большой вероятностью встречаться и беседовать с участником Аустерлицкого сражения — причем с тем, кто служил в артиллерии, «получил 14 опасных ран», но «продолжал действовать на батарее и изрублен был на пушках, защищая оные противу неприятельской кавалерии» [*Кучин*. С. 23; (из рапорта князя Багратиона о награждении Кучина за Аустерлиц)]. При этом В.Л. Кучин знает и о штабс-капитане Я.И. Судакове, реальном командире батареи при Шёнграбене: его — не очень убедительно, впрочем — в 1902 году провозгласили прототипом капитана Тушина (когда П.И. Бирюков показал восьмидесятилетнему Толстому том биографии, где приводились фрагменты статьи об этом офицере, тот на полях написал: «Брат Николай»⁴); он читал Погодина и Ермолова, изучал рукописные материалы и черновики «Войны и мира» — словом, книга Кучина читается с огромным интересом, и образ автора, на мой взгляд, чрезвычайно привлекателен, но всё сводится к тому, что Тушин — это и Кучин, и брат Николай, и, возможно, Я.И. Судаков, и штабс-капитан фон Занден-Пескович.

Но как же быть с «густой домашностью» [*Эйхенбаум—1931*. С. 266], которую никто не может отрицать в «Войне и мире»? Вот отрывок из письма Т.А. Кузминской (тогда ещё — Берс) к М.А. Поливанову (другу семьи Берсов) — в письме описано чтение Толстым книги «Тысяча восемьсот пятый год» в семейном кругу в конце 1864 года: «Про семью Ростовых говорили, что это живые люди. А мне-то как они близки! Борис напоминает вас наружностью и манерой быть. Вера — ведь это настоящая Лиза. Её степенность и отношение её к нам верно, т.е. скорее к Соне, а не ко мне. Графиня Ростова так напоминает мамá, особенно когда она со мной. Когда читали про Наташу, Варенька хитро подмигивала мне, но, кажется, никто этого не заметил. Но вот, будете смеяться: моя кукла большая Мими попала в роман! Помните, когда мы венчали вас с ней, и я настаивала, чтобы вы поцеловали её, а вы

⁴ Как пишет Гусев, «чрезвычайное присутствие духа в опасности в соединении с физической слабостью и невзрачной внешностью — таковы общие черты Тушина и Николая Николаевича Толстого» [*Гусев—1957*. С. 726].

не хотели и повесили её на дверь, а я пожаловалась мамá» [Кузминская. С. 319].

Как заметил Н.М. Фортунатов, в последнем издании это письмо изменено автором по сравнению с первой публикацией (1925—1926) [См. *Фортунатов—1983*. С. 49]. Вместо «когда мы венчали вас <М. Поливанова. — Л.С.> с ней» было: «как мы Сашу Кузминского венчали с ней» — вот вам и достоверный источник! Как писал В.Б. Шкловский, «этот семейный лепет не убеждает»; «нам говорят, что Кузминская Татьяна — прототип Наташи. Прежде всего это нам ничего не даёт: мы с Кузминской не знакомы, а если бы были знакомы, то не могли бы её так понять, как, говорят, понял её Л. Толстой» [Шкловский—1974. С. 326]. Шкловский показывает, что «Пьер и Наташа до того, когда мы их видим молодыми, не знающими, что они полюбят друг друга, уже существовали в сознании Толстого старыми, вернувшимися из Сибири» [Там же. С. 327]. Пожалуй, следует согласиться с Н.М. Фортунатовым, что «по-видимому, Т.А. Кузминская сильно преувеличивала свою роль единственного, как ей казалось, прообраза очаровательной Наташи Ростовой» [Фортунатов—1983. С. 49]. Он же справедливо заметил, что «цепная реакция криво толков и предположений возникает всякий раз, когда художественный образ пытаются отождествлять с реальным прототипом» [Там же. С. 41]. Это касается, в частности, и Т. Ёргольской, о которой Толстой всегда отзывался с любовью и которая имеет мало общего с «безвольной и пассивной Соней» [Там же. С. 49].

Тем не менее опору Толстого на «семейную хронику» в полной мере отрицать невозможно. Дело в том, что у романа был как бы двойной адресат — те (немногие) читатели, которые могли узнать домашние, интимные подробности, введённые автором в произведение и имеющие особый смысл именно для них, и остальные (мы в том числе), кому эти подробности мало что говорят, потому что мы их не узнаём. И даже изучив все дошедшие до нашего времени свидетельства современников, мы никогда не сравняемся с теми, кто с полунамёка узнавал домашние словечки, эпизоды, характерные черты домочадцев.

К тому же Толстой, конечно, не «списывал» своих персонажей с одного человека: так, в Долохове исследова-

тели находят черты и Р.И. Дорохова — знаконца Пушкина и Лермонтова, дуэлянта, прославившегося своим буйством, участника многих историй, неоднократно разжалованного в солдаты и всякий раз за храбрость производившегося в офицеры; и Ф.И. Толстого-Американца (в поздних «Воспоминаниях», уже 1903 года, Толстой напишет: «Помню его прекрасное лицо, бронзовое, бритое, с густыми белыми бакенбардами до углов рта и такие же белые курчавые волосы. Много бы хотелось рассказать про этого необыкновенного, преступного и привлекательного человека» [*ЛСС—90*. Т. 34. С. 393]); и А.С. Фигнера, партизана, который, как и герой Толстого, надев французский мундир, ездил на разведку в неприятельский лагерь. А.С. Фигнер — несомненный прототип «молчаливого офицера» из романа М.Н. Загоскина «Рославлев»: офицер этот ненавидит французов, радуется пожару Москвы, командует одним из партизанских отрядов и убивает пленных («Мы со всех сторон окружены французами, где нам таскать с собою пленных», — говорит он). Кстати, в занятую французами Москву едет во французском мундире и персонаж романа Загоскина, Зарецкий, чтобы вызволить своего раненого друга Рославлева.

Известно, что Толстой читал «Рославлева» с увлечением («Понимаешь, как он мне нужен и интересен», — пишет он С.А. Толстой 27 ноября 1864 года). Интерес понятен: роман Загоскина написан об оставлении Москвы в 1812 году, о пожаре, о сражениях с французами, о партизанской войне. Загоскин прямо и от себя пишет: «Мы не уступим никому чести московского пожара: это одно из драгоценнейших наследий, которое наш век передаст будущему» (Ч. 3. Гл. IV). Заметим, что в черновой рукописи Долохов остаётся в Москве, чтобы поджигать московские дома: «Я запалил уж Каретный ряд, мои молодцы зажгут везде», — говорит он встреченному им Пьеру [*ЛСС—90*. Т. 14. С. 135]. Но достаточно сопоставить один эпизод из романа Загоскина смерть полковника Сурского (Ч. 3. Гл. IX) со сценой умирания князя Андрея, чтобы понять, почему «Войну и мир» читают во всем мире и изучают в школе, а «Рославлев» (неплохой и нескучный роман) знают лишь записные филологи и некоторые досужие читатели. Вот сцена из «Рославлева»:

Сурской остановился; дыхание его сделалось чаще, прерывистее; он взял за руку Рославлева.

Да, Владимир Сергеевич, — сказал он, — я умираю спокойно; одна только мысль тревожит мою душу...

И светлый взор умирающего помрачился, а на бледном челе изобразились сердечная грусть и беспокойство.

Что станется с нашей милой родиной? — продолжал он. — Неужели Господь нас не помилует? Неужели попустит он злодеям надругаться над всем, что для нас свято, и сгубит до конца землю русскую? Ах, мой друг! если б непреклонное правосудие было прибежищем нашим, то я потерял бы всю надежду. Не сами ли мы хотели быть рабами тех, коим поклонялись, как идолам? Насмехаясь над добродушием наших предков — которые при всём невежестве своём были люди, — не добивались ли мы чести называться обезьянами французов? Вот они, наши образцы и наставники! Вот эти французы, у которых мы до сих пор умели перенимать только то, что достойно порицания! Нам ли прибегать к правосудию небесному? Нет! одно милосердие Божие может спасти нас. Ах, Рославлев! для чего я не умер годом прежде! Я не унёс бы с собою в могилу ужасной мысли, что, может быть, русские будут рабами иноземцев, что кровь наших воинов будет литься не за отечество, что они станут служить не русскому царю! О, эта мысль отравляет последние мои минуты! Чувствую, мой друг, что я грешу пред Господом: что слишком ещё привязан к моему земному отечеству. Желал бы победить это чувство, но оно так сильно, так связано с моею жизнью... а я жив ещё! Отечество!.. Россия!.. Пусть судит меня Господь! но я чувствую, что даже и там не перестану быть русским.

Не с этим ли эпизодом (или подобными, которых немало было в книгах того времени) спорит Толстой, когда пишет (в черновой рукописи): «Когда с простреленной грудью офицер упал под Бородином и понял, что он умирает, не думайте, чтоб он радовался спасению отечества и славе русского оружия и унижению Наполеона. Нет, он думал о своей матери, о женщине, которую он любил, о всех радостях и ничтожестве жизни, он поверял свои ве-

рованья и убеждения: он думал о том, что будет там и что было здесь. А Кутузов, Наполеон, великая армия и мужество россиян, — всё это ему казалось жалко и ничтожно в сравнении с теми человеческими интересами жизни, которыми мы живём прежде и больше всего и которые в последнюю минуту живо предстали ему» [*ПСС—90*. Т. 13. С. 73]. Впрочем, всё это Толстой написал уже в сцене смерти Праскухина во втором севастопольском рассказе.

Отступление о военных рассказах Толстого. Человек на войне у Толстого

«Войну и мир» читал... Вот, действительно, книга. До самого конца прочитал — и с удовольствием. А почему? Потому что писал не обормот какой-нибудь, а артиллерийский офицер.

М.А. Булгаков. Белая гвардия

В конце апреля 1851 года Толстой вместе с братом Николаем выехал из Ясной Поляны в станицу Старогладковскую, где служил поручик 4-й батареи 20-й артиллерийской бригады граф Николай Николаевич Толстой. Уже в июне Толстой участвует в качестве волонтера в набеге русского отряда на селения горцев — дела против горцев продолжаются, и в 1852 году в дневник заносятся наблюдения над собственным поведением во время опасности. Как известно, в сентябре 1852 года Некрасов печатает в «Современнике» «Историю моего детства» Толстого (авторское заглавие — «Детство»); успех первой повести побуждает автора «продолжать писание» — уже в декабре Некрасову послан «Набег», первый опыт военной прозы.

«Война всегда интересовала меня. Но война не в смысле комбинаций великих полководцев — воображение моё отказывалось следить за такими громадными действиями: я не понимал их — а интересовал меня сам факт войны — убийство. Мне интереснее знать: каким образом и под влиянием какого чувства убил один солдат другого, чем расположение войск при Аустерлицкой или Бородинской битве» [*ПСС—90*. Т. 3. С. 228]. Эти строки из черновой рукописи «Набега» написаны намного раньше, чем Толстой примется за описание Аустерлицкого и Бородинского сражений. Но в них обозначена одна из главных

проблем всего творчества Толстого: что движет человеком в минуту смертельной опасности, что заставляет человека убивать себе подобного? В основе «Набега» — личный военный опыт, наблюдения над собой и другими. Не случайно в военных рассказах 50-х годов встречаются обороты типа: «Каждый, бывший в деле, верно, испытывал <...>» («Рубка леса»); «Кто не испытал, тот не может вообразить себе <...>» («Севастополь в мае»); «Мы довольно долго продолжали между собою ту однообразную военную болтовню, которую знает каждый, кто бывал в походах <...>» («Из кавказских воспоминаний»). Все три кавказских рассказа написаны от первого лица — автору важен взгляд участника событий, новичка («Набег») или «старого юнкера» («Из кавказских воспоминаний»): создается ощущение предельной достоверности.

Отметим здесь устойчивый прием Толстого — дать привычные, известные явления через восприятие человека неискушённого, нового, непривычного — ребёнка, новичка. Волонтёр-рассказчик «Набега» поражён стоном раненого; тут же он добавляет, что никто, кроме него, как будто не заметил этого стога. Николай Ростов — ещё не обстрелянный юнкер — обострённо ощущает противостоимость войны, возможность собственной смерти. Заметим, что гибель молодого человека, почти мальчика — частый мотив военных рассказов Толстого (Аланин, Володя Козельцов) — перейдёт в «Войну и мир»; сцена смерти Пети Ростова вновь с пронзительной силой выразит авторское отрицание войны. И присутствие Пьера Безухова на Бородинском поле — не касаясь сейчас важности этого момента в духовных поисках героя — позволяет дать «остранённый», как сказал бы Шкловский, взгляд на сражение человека мирного, не привычного к опасности, не понимающего и не принимающего условности войны (вспомните, как описано не то пленение Пьером французского офицера, не то взятие его, Пьера, в плен или ужас Пьера от вида поля, покрытого ранеными и убитыми).

В кавказских и — ещё более — в севастопольских рассказах Толстого отчётливо видна тенденция показать войну «не в правильном красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знамёнами

и гарцующими генералами», а «в крови, в страданиях, в смерти». Отсюда и шокирующие подробности — сцены в госпитале во всех трёх рассказах о Севастополе (вспомните посещение госпиталя Николаем Ростовым). При этом Толстой явно взрывает привычные эстетические ассоциации: «Похороны покажутся вам весьма красивым воинственным зрелищем, звуки <стрельбы. — Л.С.> — весьма красивыми воинственными звуками, и вы не соедините ни с этим зрелищем, ни с этими звуками мысли ясной, перенесённой на себя, о страданиях и смерти, как вы это сделали на перевязочном пункте».

В «Войне и мире» недоумение Пьера перед поведением солдат и ополченцев («Они, может быть, умрут завтра, зачем они думают о чём-нибудь другом, кроме смерти?») разрешается в словах солдата, говорившего о том, что «всем народом навалиться хотят». Пьеру открывается различие между штабными, с их «вопросами личного успеха», и солдатами, ополченцами — словом, людьми «из рядов», для которых речь идёт «о вопросах не личных, а общих, вопросах жизни и смерти».

Но это различие обозначено уже в ранних военных рассказах. Положительный герой военной прозы Толстого — человек из рядов. Чаще всего это солдат — Веленчук из «Рубки леса», который «жил честно и просто» и так же честно и просто умер, не усомнившись в «будущей, небесной жизни»; Антонов (из того же рассказа): «старанье казаться хладнокровнее» и «хитрые фразы» рассказчика-юнкера и офицера Болхова кажутся натянутыми и глупыми рядом с простодушным восклицанием этого солдата. Ещё заметнее правда и простота солдат в «Севастополе в мае». Автор резко, в лоб сталкивает поручика Непшитшетского (известно, что поручик не пошёл на бастион, так как страдал флюсом), стыдившего раненых солдат за то, что они оставили бастион, — с этой правдой и простотой, и читатель понимает, почему князю Гальцину становится стыдно и за поручика, и за себя.

Впрочем, человек из рядов — не обязательно солдат. У Толстого нет однозначно социальной характеристики — его капитан Хлопов открывает ряд боевых офицеров (Тимохин, Тушин из «Войны и мира»), в котором оказываются и Багратион, и Кутузов. Их отличают та самая естест-

венность и простота в поведении перед лицом опасности, о которых Толстой писал во многих своих произведениях и которые так высоко ценил.

Кавказские рассказы Толстого отчетливо противостоят романтической традиции изображения этого края. Ротный командир Болхов («Рубка леса») говорит: «Ведь в России вообразают Кавказ как-то величественно, с вечными девственными льдами, бурными потоками, с кинжалами, бурками, черкешенками <...>» — писатель разрушает это книжное представление. Вместо напряжённого лирического романтического стиля (как в кавказских повестях А. Бестужева-Марлинского) в прозе Толстого заметны очерковые интонации, приметы документального жанра — корреспонденции с места событий; прежних героев-удальцов сменяют обыкновенные люди. Всякая ходульность, неестественность подчёркивается и снижается. Вот изображение поручика Розенкранца, одного из «наших молодых офицеров, удальцов-джигитов, образовавшихся по Марлинскому и Лермонтову. Эти люди смотрят на Кавказ не иначе, как сквозь призму героев нашего времени, Мулла-Нуров и т.п., и во всех своих действиях руководствуются не собственными наклонностями, а примерами этих образцов». Уже в первом военном рассказе автор разоблачает позу, противопоставляет простоту и естественность Хлопова актерству Розенкранца. Эта антитеза — одна из основных в толстовском творчестве (вспомним хотя бы Кутузова и Наполеона в «Войне и мире»).

Антиромантическая направленность толстовской прозы сохранится надолго. В «Кавказском пленнике» (1872) автор словно переписывает сюжеты поэм Пушкина и Лермонтова, показывая, какова кавказская война на самом деле; что значит бежать с ногами, забитыми в колодки, каково сидеть пленному в яме и т.д. В «Хаджи-Мурате» (1904) вместе с разоблачением так называемых «великих людей» — императора Николая I, Шамиля, Воронцова — заметна и дегероизация войны, отчётливое стремление показать её некрасивой, непривлекательной. Снятие романтического ореола с войны нередко достигается противопоставлением мечты и действительности. Вспомним вновь офицера Болхова, которому кажется, что Кавказ обманул его ожидания. В «Севастополе в августе» коротко передана исто-

рия офицера, который (как и «многие и прежде, и после него») «возгорелся честолюбием и ещё более — патриотизмом» (читая газеты, как замечает автор), отправился в Севастополь, но чем ближе подъезжал он к месту боевых действий, чем больше узнавал о войне, тем более трусил. Будничная правда войны убивает энтузиазм; «много ему надо было пройти моральных страданий, чтобы сделаться тем спокойным, терпеливым человеком в труде и в опасности, каким мы привыкли видеть русского офицера». Здесь нетрудно увидеть контуры будущего пути Николая Ростова — от пылкого юноши, мечтающего о подвигах, до опытного участника войны 1812 года, знающего, что и когда нужно делать.

В первом севастопольском рассказе среди множества персонажей есть офицер, рассказывающий другому офицеру про альминское дело. Автор походя замечает, что рассказчик «сильно отклоняется от строгого повествования истины»; сходная ситуация подробно развернута в «Севастополе в мае». Юнкер Пест участвовал в бою и заколол француза; рассказывая Калугину о сражении, юнкер «выдумывал и хвастал» («неволью», — добавляет автор), стараясь воспроизвести подробности дела «с выгодной для себя стороны». Точно так же Калугин в следующей — 13-й — главе станет рассказывать Гальцину о своем участии в бою, тоже, разумеется, искажая истинный ход дела. Ни того ни другого рассказа Толстой не передаёт, но сообщает, «как это было действительно». Подчеркнут страх Песта — «холодная дрожь», «холодный пот»; впрочем, страх заметен и в Праскухине, и в Калугине, и в Михайлове — это естественное чувство⁵. Неестественна игра в отсутствие страха — у того же Калугина или лейтенанта Карца, «с которым они бесполезно друг перед другом высовывались в амбразуры и вылезали на банкеты»; неестественны храбрецы — ротный командир Лисинковский (на замечание Песта «Какой он храбрый!» — следует ответ: «Да, как в дело, всегда мертвецки») или тот же Калу-

⁵ Тургенев писал 25 марта 1866 года Фету: «Вторая часть “1805 года” <...> слаба: как это всё мелко и хитро, и неужели не надоели Толстому эти вечные рассуждения о том — трус, мол, ли я или нет — вся эта патология сражения?» [*Переписка Тургенева*. Т. 1. С. 438]. Устойчивый приём Толстого воспринимался как самоповторение и недостаток.

гин: он «был самолюбив и одарён деревянными нервами, то, что называют храбр, одним словом». Но самое важное в этом эпизоде — подчёркнутая бессознательность поведения человека в бою. Характерная лексика: «решительно не помнил», «бессознательно», «решительно не отдавая себе отчета», «шёл как пьяный», и обилие неопределённых местоимений: «что-то», «какая-то», «куда-то», «какой-то»; наконец, «кто-то взял ружьё и воткнул штык во что-то мягкое» — так описаны действия Песта в его собственном восприятии. Толстой словно говорит: вот что скрыто за так называемым подвигом, вот как на самом деле ведёт себя человек в бою. Здесь легко увидеть связь с подобными эпизодами в «Войне и мире» — например, с тем, как ведёт себя Николай Ростов в Шёнграбенском сражении и как впоследствии рассказывает о деле; заключённые в контекст романа-эпопеи, подобные эпизоды выражают историсофскую концепцию писателя: по описаниям участников сражения нельзя понять его подлинный смысл.

Война, опасность — излюбленная ситуация для изображения человека у Толстого. Писатель всегда различает условное (временное) и безусловное (вечное) в жизни; война подчёркивает условность (для Толстого — незначительность, ложность) многих «установлений» человеческого быта. Прежде всего это касается сословных различий. Вот среди штабных «аристократов» появляется пехотный офицер («Севастополь в мае»). Он конфузится, не знает, «что делать с своей персоной и руками без перчаток», робеет перед «оскорбительной учтивостью» штабного Калугина. Но через несколько часов он же «совершенно развязно» направляется к генералу, уже не обращая внимания на того же Калугина — чувство опасности изменило его, сословные предрассудки отброшены как нечто незначительное.

Ещё заметнее ложь и условность в сцене перемирия (16-я глава той же повести). Выставлены белые флаги; русские и французы переговариваются друг с другом, смеются, просят огня закурить трубку... Но: «Белые тряпки спрятаны — и снова свистят орудия смерти и страданий, снова льётся невинная кровь и слышатся стоны и проклятия». Позднее, в «Войне и мире», в сцене пере-

мира перед Шёнграбенским сражением Толстой вновь столкнёт безусловное — братское чувство людей, которым нет причины убивать друг друга, — и условное: законы войны.

Неприятие войны — основная идея Толстого. В «Набеге» рассказчик спрашивает: «Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым небом?». Природа противостоит войне и в «Севастополе в мае», и в «Войне и мире»: «Над всем полем, прежде столь весело-красивым, с его блёстками штыков и дымами в утреннем солнце, стояла теперь мгла сырости и дыма и пахло странной кислотой селитры и крови. Собрались тучки, и стал накрапывать дождик на убитых, на раненых, на испуганных, и на изнурённых, и на сомневающих людей. Как будто он говорил: “Довольно, довольно, люди. Перестаньте... Опомнитесь. Что вы делаете?”». Везде у Толстого гармония мира (природа, музыка, любовь) дана как идеал, а дисгармония (война, дуэль, душевный разлад) — как отклонение от идеала, как недолжное. Нередко гармоническое, естественное начало в прозе Толстого воплощено в ребёнке: девочка в первом севастопольском рассказе, мальчик на поле боя в финале «Севастополя в мае» одним своим присутствием подчёркивают неестественность войны. И «детские» вопросы, которые задаёт автор в начале второй севастопольской повести (почему воюют 80 000 солдат с каждой стороны, а не один против одного), обнаруживают силу моральных критериев — всегдашнего толстовского различения добра и зла, — неизменно применяемых автором ко всем его персонажам.

Толстому в военных рассказах важен не полководец, не главнокомандующий, а человек из рядов. Он показывал Крымскую войну глазами братьев Козельцовых — рядовых участников сражения, решавших — наряду с множеством других, таких же обычных офицеров и солдат — исход громадного события. Ещё не записана чёткая формула исторической концепции Толстого: «Царь есть раб истории», князь Андрей ещё не объяснил Пьеру, что исход Бородинского сражения зависит от «ста миллионов самых разнообразных случайностей», а всего более от «чувства, которое есть <...> в каждом солдате», — но в третьем

севастопольском рассказе автор ближе всего подошёл к историософии своей будущей эпопеи. Не случайно в одном из эпизодов с Володей (гл. 27) упомянуто, что солдаты распорядились без приказа командира, не случайно там же, как и в некоторых других местах рассказа, подробно передано общее чувство — то спокойствие солдат, то отчаяние защитников батареи, когда французы показались в тылу. Зная приёмы автора «Войны и мира», мы легко различим толстовские способы передавать размер и размах события через частные сцены и эпизоды. Вот братья приближаются к Михайловской батарее: слышен непрерывный гул, и каждую секунду видны огни бомб и выстрелов; вот один из встреченных солдат говорит другому про бомбу, которая «прилетела» на Северную сторону (сравнительно безопасное место) и «двум матросам ноги пооборвала»; полковой адъютант, направляющийся за патронами, рассказывает, что в ожидании неприятельского штурма «по пяти патронов» нет у защитников, что Севастополя не узнать, что теперь «ужасно грустно стало».

Кроме того, несколько моментов в третьем рассказе прямо указывают на масштаб происходящего, обобщая отдельные сцены и эпизоды. Такова молитва в 15-й главе, объединившая генерала, «за секунду перед этим думавшего о завтраке и Георгии на шею, но со страхом чующего близость Твою», и «измученного солдата, повалившегося на голом полу Николаевской батареи». Таков в 24-й главе разговор двух офицеров, увидевших штурм Малахова кургана и французское знамя на нём.

Война в третьем рассказе описана жестоко, но без явно выраженного осуждения. Это реальность, от которой нельзя отделаться «детскими» вопросами, и взгляд новичка здесь — один из возможных, но не единственный. Действительно, мечтания Володи (гл. 8) наивны и скоро рассыплются при столкновении с реальностью войны: «Война совсем не так делается, как ты думаешь», — говорит старший брат; но Толстому не нужно в очередной раз опровергать ходячие представления (для этой цели достаточно офицера из П., «возгоревшегося честолюбием и патриотизмом» и бросившего всё, чтобы отправиться в Севастополь, но перед самым городом трусившего и от-

кладывавшего приезд к месту назначения). Как и в мечтаниях князя Андрея, Николая Ростова и других персонажей будущей книги, в героях третьего рассказа автора интересует сложная душевная жизнь человека — человека перед лицом смертельной опасности.

О ЖАНРЕ

Напомним: жанр — исторически сложившийся, устойчивый, повторяющийся тип произведения; по выражению М.М. Бахтина, жанр — память литературы. Мы без труда понимаем различия между стихотворениями Тибулла, Батюшкова и, например, Кибирова; труднее понять, что у всех трёх поэтов мы читаем э л е г и и, то есть в их стихах мы встречаем сожаления об утратах, грусть по поводу невозвратимых радостей или тоску неразделённой любви. Но именно эти мотивы и делают элегию элегией, именно они напоминают о непрерывности поэтического движения, о «блуждающих снах чужих певцов» — «блаженном наследстве», оставленном поэтам и читателям.

Толстой уже в начале второго года работы над книгой осознавал, что его сочинение «ближе всего подходит к роману или повести, но оно не роман, потому что я никак не могу и не умею положить вымышленным мною лицам известные границы — как то женитьба или смерть, после которых интерес повествования бы уничтожился. Мне невольно представлялось, что смерть одного лица только возбуждала интерес к другим лицам, и брак представлялся большей частью завязкой, а не развязкой интереса. Повестью же я не могу назвать моего сочинения потому, что я не умею и не могу заставлять действовать мои лица только с целью доказательства или уяснения какой-нибудь одной мысли или ряда мыслей» [*ЛСС—90*. Т. 13. С. 55].

30 сентября 1865 года Толстой записывает в Дневнике: «Есть поэзия романиста <...> в картине нравов, построенных на историческом событии — Одиссея, Илиада, 1805 год». Если бы не было правой части этого предложения, в пример можно было бы приводить множество произведений — и романы Вальтера Скотта, и гораздо более скромные по литературному значению романы М. За-

госкина и Р. Зотова, но обратим внимание на тот ряд, в который попадает толстовское сочинение («Тысяча восемьсот пятый год»): это две гомеровские поэмы, самый бесспорный пример жанра эпопеи.

Известна горьковская запись признания Толстого о «Войне и мире»: «Без ложной скромности — это как “Илиада”» [*Горький*. Т. 16. С. 294]. «Одиссея» и «Илиада», прочитанные по-русски (с 25-ти до 35 лет) и по-гречески (с 35-ти до 50-ти), вошли в толстовский список «Сочинений, произведших впечатление», составленный в 1891 году. В 1983 году в журнале «Comparative Literature» [Т. 35. N 2] была напечатана статья «Толстой и Гомер» (авторы F.T. Griffiths, S.J. Rabinowitz)⁶. В статье есть несколько интересных сопоставлений: Андрей — ратник, как Ахилл; с преобладания князя Андрея, как считают авторы, начинается книга Толстого, потом интерес переносится на Пьера (соответствует Одиссею, главная цель которого — возвращение домой); потом, на последних страницах первой части Эпилога, сон Николеньки Болконского возвращает нас к началу книги — опять центр интереса переносится на ратника (будущего) — сына князя Андрея. Семь лет Пьера с соблазнительницей Еленой соответствуют семи годам, которые Одиссей провёл в плену (сначала добровольном, потом, как Пьер, не по своему желанию) у Калипсо. И даже то, что Одиссей надевает рубище нищего, чтобы неузнанным вернуться на Итаку, находит соответствия в переодевании Пьера в простонародную одежду (когда герой остаётся в Москве с целью убить Наполеона). К сожалению, авторы не учитывают важной работы Г.Д. Гачева «Содержательность художественных форм» [М., 1968], где есть существенные сопоставления «Войны и мира» с «Илиадой» (см., например, рассуждения о смерти Ахилла и князя Андрея — и об оставлении в живых Одиссея и Пьера [*Гачев*. С. 123—124]).

Толстой, как пишет Гачев, «конечно, не задавался целью писать эпопею. Напротив, он всячески отмежёвывал свой труд ото всех привычных жанров <...>» [*Гачев*. С. 117].

⁶ См. русский перевод в книге: *Гриффитс Ф.Т., Рабинович Ст.Дж.* Третий Рим. Классический эпос и русский роман (от Гоголя до Пастернака). СПб., 2005.

В марте 1868 года в «Русском архиве» у Бартенева Толстой печатает статью «Несколько слов по поводу книги “Война и мир”», в которой заявляет: «Что такое “Война и мир”? Это не роман, ещё менее поэма, ещё менее историческая хроника. “Война и мир” есть то, что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось». В подтверждение жанровой уникальности своей книги автор ссылается на особенность русской литературы вообще: «История русской литературы со времени Пушкина не только представляет много примеров такого отступления от европейской формы, но не даёт даже ни одного примера противного. Начиная от “Мёртвых душ” Гоголя и до “Мёртвого Дома” Достоевского в новом периоде русской литературы нет ни одного художественного прозаического произведения, немного выходящего из посредственности, которое бы вполне укладывалось в форму романа, поэмы или повести». Об этом же — и в набросках предисловия: «Мы, русские, вообще не умеем писать романов в том смысле, в котором понимается этот род сочинений в Европе <...> Русская художественная мысль не укладывается в эту рамку и ищет для себя новой. Предлагаемое сочинение <...> не подходит по своему содержанию ни под понятие повести, ни ещё <менее> под понятие романа» [*ПСС—90*. Т. 13. С. 55].

Казалось бы, странное определение (отрицательное) романа у Толстого: «оно <сочинение автора. — *Л.С.*> не роман, потому что я никак не могу и не умею положить вымышленным мною лицам известные границы — как то женитьба или смерть, после которых интерес повествования бы уничтожился». Как мне кажется, ключ к жанровому своеобразию «Войны и мира» следует искать в черновом предисловии, приведённом в начале нашей книжки: «*Между теми полуисторическими, полубожественными, полувозвышенными великими характерными лицами великой эпохи личность моего героя отступила на задний план, а на первый план стали, с равным интересом для меня, и молодые и старые люди, и мужчины, и женщины того времени*». Толстой перестал писать книгу об одном герое (или двух, трёх) — и «старался писать историю народа» [*ПСС—90*. Т. 15. С. 241; автор называет это суждение «трузизмом»

(трюизмом)]. А в Дневнике запишет: «Эпический род мне становится один естествен» [1863/ 3 января].

В статье «Эпос и роман» М.М. Бахтин характеризует жанр эпопеи тремя чертами: «1) предметом эпопеи служит национальное эпическое прошлое, “абсолютное прошлое”, по терминологии Гёте и Шиллера; 2) источником эпопеи служит национальное предание (а не личный опыт и вырастающий на его основе свободный вымысел); 3) эпический мир отделён от современности, то есть от времени певца (автора и его слушателей), абсолютной эпической дистанцией» [*Бахтин—2000*. С. 204]. Слово «эпос», как известно, многозначно: эпос — род литературы (наряду с лирикой и драмой); эпос — эпический жанр, эпопея (здесь это понятие противопоставлено не лирике или драме, а роману и повести). Посмотрим, насколько «Война и мир» отвечает признакам эпопеи, как их определяет Бахтин (в книге «Проблемы поэтики Достоевского» Бахтин замечает, что применение к «Войне и миру» термина «эпопея» стало привычным [*Бахтин—1979*. С. 158—159]).

Начнём с «национального эпического прошлого», «героического прошлого», как пишет Бахтин. Едва ли нужно доказывать, что 1812 год, «когда <...> мы отшлёпали Наполеона I», и стал для Толстого таким «героическим прошлым». Более того, тема Толстого — народ перед лицом опасности, когда решается вопрос, быть ему или не быть. Толстой выбирает кульминационный момент в жизни «роя» (или постепенно приходит к нему); вот почему 1825 год не мог стать предметом эпопеи, а 1812-й (как и пореформенное время в «Кому на Руси жить хорошо», революция и Гражданская война в «Тихом Доне» и в «Красном колесе») — стал. 1812 год затронул глубинные основы бытия — но, как уже замечено, и 1860-е годы, время писания «Войны и мира», были таким особенным временем — когда, по слову Константина Лёвина, «всё переверотилось и только укладывается». Точно выразил это Бочаров: «Созидаются новые отношения между людьми, на совершенно иной основе, чем прежде, невозможной до этой войны, да и после неё, но такие отношения, которые должны были бы быть всегда, — “общая жизнь”, человеческое единство во имя простой и ясной, не разделяющей разных людей, но связующей их задачи» [*Бочаров—1963*. С. 17].

Гачев писал о двух формах (способах) объединения людей — народе и государстве. Именно их отношения и рождают эпопейную ситуацию: таковую он видит в «Илиаде» (Ахилл против Агамемнона) и в «Войне и мире» (Кутузов против Александра). В кризисной ситуации государство должно ощутить «свою полную зависимость от естественного течения жизни и естественного общежития. Государство должно встать в зависимость от народа, его свободной воли: <...> даст ли он своё согласие, доверие, забудет ли распри и возьмёт ли в руки “божье” оружие — щит Ахилла или первую попавшуюся дубину?» [Гачев. С. 83]. Это рассуждение подтверждается, между прочим, чтением толстовских источников, в частности историй Отечественной войны, написанных А.И. Михайловским-Данилевским и М.И. Богдановичем. Главный герой этих описаний — Александр I, что, конечно, понятно и не нуждается в объяснениях; как выглядит Александр у Толстого — отдельная тема, но, во всяком случае, не его воля или характер, или твёрдость, или великодушие определяют ход войны. Кутузов, как Ахилл, был призван, чтобы спасти государство, которым он был оскорблён, «находился в отставке и немилости»; призван «не приказом власти, а волею народной» [Там же. С. 119]. Именно толстовский Кутузов как подлинный человек эпопеи «сплошь завершён и закончен» [Бахтин—2000. С. 225]; едва ли нужно оговаривать, что реальный Кутузов мог быть (и, по-видимому, был) совсем другим и что кроме Кутузова в «Войне и мире» есть множество героев, вовсе не завершённых и не законченных.

Понятно, что Толстой не мог и не собирался написать эпопею, подобную «Илиаде» — всё-таки между ними прошло 27 веков. Поэтому и отношение к «национальному преданию» (второе условие эпопеи, по Бахтину) не было и не могло быть таким, как во времена Гомера или Вергилия («благоговейная установка потомка», называет это Бахтин [Там же. С. 204]); субститут национального предания, исторические описания третируются Толстым и оспариваются именно как ложные, но претендующие на истинность жалкие продукты позитивной науки (ср.: «предание о прошлом священо» [Там же. С. 206]). Впрочем, Толстой, как видно, сам пытается создать нечто вроде националь-

ного предания: я имею в виду его рассказ о 1812 годе ученикам Яснополянской школы.

В мартовском номере журнала «Ясная Поляна» Толстой напечатал статью о своей школе, в частности о том, как рассказывал детям о войне с Наполеоном.

«Этот класс <урок. — Л.С.> остался памятным часом в нашей жизни. Я никогда не забуду его. <...> Я начал с Александра I, рассказал о французской революции, об успехах Наполеона, о завладении им властью и о войне, окончившейся Тильзитским миром. Как только дошло дело до нас, со всех сторон слышались звуки и слова живого участия. “Что ж он и нас завоюет?” “Небось Александр ему задаст!” — сказал кто-то, знавший про Александра, но я должен был их разочаровать — не пришло ещё время; и их очень обидело то, что хотели за него отдать царскую сестру и что с ним, как с равным, Александр говорил на мосту. “Погоди же ты!” — проговорил Петька с угрожающим жестом. “Ну, ну рассказывай! Ну!” Когда не покорился ему Александр, т.е. объявил войну, все выразили одобрение. Когда Наполеон с 12 языками пошёл на нас, взбунтовал немцев, Польшу, все замерли от волнения. Немец, мой товарищ, стоял в комнате. “А, и вы на нас!” — сказал Петька (лучший рассказчик). “Ну, молчи!” — закричали другие. Отступление наших войск мучило слушателей, так что со всех сторон спрашивали объяснений: зачем? — и ругали Кутузова и Барклая. “Плох твой Кутузов”. “Ты погоди”, — говорил другой. “Да что ж он сдался?” — спрашивал третий. Когда пришла Бородинская битва, и когда в конце её я должен был сказать, что мы всё-таки не победили, мне жалко было их: видно было, что я страшный удар нанёс всем. “Хоть не наша, да и не их взяла!” Как пришёл Наполеон в Москву и ждал ключей и поклонов, всё загрохотало от сознания непокоримости. Пожар Москвы, разумеется, одобрен. Наконец, наступило торжество — отступление. “Как он вышел из Москвы, тут Кутузов погнался за ним и пошёл бить”, — сказал я. “Окарячил его!” — поправил меня Фёдка, который, весь красный, сидел против меня и от волнения корчил свои тоненькие чёрные пальцы. Это его привычка. Как только

он сказал это, так вся комната застонала от гордого восторга. <...> “Так-то лучше! Вот-те и ключи!” и т.п. Потом я продолжал, как мы погнали француза. Больно было ученикам слушать, что кто-то опоздал на Березине, и мы упустили его, Петька даже крикнул: “Я б его расстрелял, сукина сына, зачем он опоздал!” Потом немножко мы пожалели даже мёрзлых французов. Потом, как перешли мы границу, и немцы, что против нас были, повернули за нас, кто-то вспомнил немца, стоявшего в комнате. “А, вы так-то? То на нас, а как сила не берёт, так с нами?” — и вдруг все поднялись и стали ухать на немца, так что гул на улице был слышен. Когда они успокоились, я продолжал, как мы проводили Наполеона до Парижа, посадили настоящего короля, торжествовали, пировали. Только воспоминание Крымской войны испортило нам всё дело. “Погоди же ты, — проговорил Петька, потрясая кулаками, — дай я вырасту, я же им задам!” Попался бы нам теперь Шевардинский редут или Малахов курган, мы бы его отбили. Уже было поздно, когда я кончил. <...> И все полетели под лестницу, кто обещаясь задать французу, кто укоряя немца, кто повторяя, как Кутузов его окарячил. “Sie haben ganz russisch erz>hlt (вы совершенно по-русски рассказывали), — сказал мне вечером немец, на которого ухали. — Вы бы послушали, как у нас совершенно иначе рассказывают эту историю”. <...> Я совершенно согласился с ним, что мой рассказ не был история, а сказка, возбуждающая народное чувство» [ЛСС—90. Т. 8. С. 101—103].

Дети, как мне кажется, не случайно оказываются активными слушателями «сказки, возбуждающей народное чувство», как не случайно в сцене совета в Филях присутствует девочка Малаша: простодушная эпопея нуждается (по крайней мере в Новейшее время) в детском взгляде, как раз и выражающем это простодушие.

Зато эпическая дистанция — третья черта эпопеи, как её описывает Бахтин — отчётливо обнаруживается в цитированном уже предисловии Толстого: от 1856 года (современности) к 1825-му; затем — к 1812 году, и далее — к 1805 году, когда характер народа должен был обнару-

житься в эпоху «наших неудач и нашего срама». Почему Толстой не довёл своё повествование не только до 1856 года (как собирался), но даже до 1825-го? Эпическое время — это не столько конкретное событие, сколько время бытия вообще; это не столько «тогда-то», сколько — «всегда». Временные границы эпоса всегда размыты — «эпопея равнодушна к формальному началу, — пишет Бахтин, — поэтому любую часть можно оформить и подать как целое» [Бахтин—2000. С. 223]. Н.И. Соловьёв ещё в 1869 году заметил, что сочинение Толстого «не имеет ни начала, ни конца: началось оно, по крайней мере, совершенно незаметно, как бы с середины какого-то другого рассказа или хроники, и мы сильно сомневаемся, чтобы автору удалось его окончить так, чтобы читателю после не захотелось более продолжения» [Соловьёв. С. 172].

Признаком эпопеи является и необычайная широта охвата: речь не только о количестве персонажей, хотя массовые сцены в «Войне и мире» не похожи ни на что подобное в предшествующей литературе; скорее, следует говорить об универсальности эпопеи, о её стремлении охватить максимальное пространство — с этим связано и множество «сценических площадок» книги: Петербург, Москва, Браунау, Отрадное, Лысые Горы, Можайск, Смоленск... При этом для эпопеи нет главного и второстепенного — нет иерархии; как ребёнку, эпопее интересны все и всё: и фрейлина Перонская (автор считает нужным сообщить нам, что её «старое, некрасивое тело» было так же «надушено, вымыто, напудрено» и так же «старательно промыто за ушами», как у барышень Ростовых [Т. 2. Ч. 3. Гл. XIV]), и военный врач, «в окровавленном фартуке и с окровавленными небольшими руками, в одной из которых он между мизинцем и большим пальцем (чтобы не запачкать её) держал сигару» [Т. 3. Ч. 2. Гл. XXXVII], и то, что у есаула из отряда Денисова «узкие светлые глаза», которые он постоянно «суживает» или «щурит» [Т. 4. Ч. 3. Гл. VI, VIII]. Важно не только то, что «Война и мир» не сосредоточена на одном герое — в этой книге вообще весьма условным кажется само деление героев на главных и второстепенных; важнее другое — стремление передать полноту бытия, когда каждая деталь («и чем случайней, тем вернее») предстаёт частью неисчерпаемого

целого — человеческого бытия. То же справедливо и для отдельного эпизода; как точно заметил Бочаров, эпизод «задерживает ход действия и привлекает наше внимание сам по себе, как одно из бесчисленных проявлений жизни, которую учит любить нас Толстой» [Бочаров—1963. С. 19]. Именно потому, наверное, «отдельными яркими кадрами встаёт в нашей памяти эта книга» [Там же], что в «Войне и мире» нет романной подчинённости каждого эпизода раскрытию характера отдельного героя или раскрытию идеи; то «сцепление мыслей», о котором писал Толстой Н.Н. Страхову, или «сопряжение» (помните, в можайском сне Пьера — «сопрягать надо»?) всего со всем свойственно именно эпосе.

Книга начинается с появления Пьера — молодого человека без семьи; его поиски — в том числе и поиск истинной семьи — составят один из сюжетов «Войны и мира»; книга заканчивается сном Николеньки Болконского, сироты; его мечтания — это возможность продолжения книги; собственно, она и не кончается, как не кончается жизнь. И, наверное, появление в сне Николеньки его отца, князя Андрея, тоже принципиально: книга Толстого написана о том, что смерти нет — помните, после смерти князя Андрея Толстой даёт в кавычках, то есть как мысли Наташи Ростовской, вопросы: «Куда он ушёл? Где он теперь?..». Так выражена в композиции «Войны и мира» философия этой книги: утверждение вечного обновления жизни, того «общего закона», который вдохновлял позднюю лирику Пушкина.

«Во время работы Толстой в письмах к Фету, Башилову, Бартеневу нередко “1805 год” и “Войну и мир” называл романом. Происходило это отчасти оттого, что надо же было как-нибудь называть печатающееся произведение, частью же оттого, что Толстой не мог не видеть, что его произведение можно назвать не только эпосом, но и романом, и романом самым увлекательным по обилию действующих лиц, по сложности пересекающихся сюжетных линий, по яркости и разнообразию характеров», — пишет Гусев [Гусев—1957. С. 765]. Толстой не мог не учесть опыта предшествующего европейского и русского романа — и изощрённый психологический анализ для многих читателей составляет наиболее важную сторону его

книги. В «Войне и мире» «соединены в одно органическое целое (говоря словами Пушкина) “судьба человеческая” (романное начало) и “судьба народная” (начало эпическое)», что обусловило «неуклюжее» жанровое определение «роман-эпопея» [Лесскис. С. 399]. Это жанровое наименование обосновано А.В. Чичериным в книге «Возникновение романа-эпопеи» [Харьков, 1958. 2-е изд. М., 1975]. Оно вызывало и вызывает несогласия (скажем, Г.А. Лесскис предлагал считать «Войну и мир» идиллией, а Б.М. Эйхенбаум видел в книге черты «древнего сказания или летописи» [Эйхенбаум—1969. С. 378])⁷, но если понимать его не как «чисто оценочное, похвальное, ничего кроме “эпической широты” охвата отражённых общественно-исторических явлений не выражающее», как характеризовала Е.Н. Куприянова этот термин Чичерина [Куприянова. С. 161], а как именование эпопеи (об этом много говорилось выше), включающей в себя несколько романских линий, он вполне может работать. Существенно при этом, что в толстовской книге роман может вступить в конфликт с эпопеей: так, князь Андрей с его честолюбивыми мечтами перед Аустерлицким сражением, готовый пожертвовать самыми близким людьми за мгновенные славы, слышит, как кучер дразнит кутузовского повара по имени Тит: «“Тит, а Тит?”». — Ну, — отвечал старик. — Тит, ступай молотить». «Низкая действительность» здесь явно противостоит высоким мечтам героя — но именно она и оказывается права; это, пожалуй, голос самой эпопеи, самой жизни, которая (в виде высокого неба) вскоре обнаружит ложь наполеоновских мечтаний романного героя.

Приведу глубокую и, на мой взгляд, очень важную мысль Бахтина: «Романизация литературы вовсе не есть

⁷ «Народно-эпическая, сказочно-былинная тенденция, ясно определившаяся к концу романа, привела к появлению фигуры Платона Каратаева. Это было важно и необходимо для повышения жанра — для выведения его из исторического романа в народно-героическую эпопею. Рядом с этим естественно определился план лубочный, — и Наполеон приобрёл черты, как бы выхваченные из народных картинок. С другой стороны, рассказ о Кутузове доведён к концу книги до агиографического стиля, что тоже было необходимо при определившемся повороте от романа к эпосу» [Эйхенбаум—1969. С. 379].

навязывание другим жанрам несвойственного им чужого жанрового канона. Ведь такого канона у романа вовсе и нет. <...> Поэтому романизация других жанров не есть их подчинение чуждым жанровым канонам; напротив, это и есть их освобождение от всего того условного, омертвевшего, ходульного и нежизненного, что тормозит их собственное развитие, от всего того, что превращает их рядом с романом в какие-то стилизации отживших форм» [*Бахтин—2000*. С. 231]. Не случайно ведь в «Войне и мире» находим такое рассуждение Толстого: «Древние оставили нам образцы героических поэм, в которых герои составляют весь интерес истории, и мы всё ещё не можем привыкнуть к тому, что для нашего человеческого времени история такого рода не имеет смысла» [Т. 3. Ч. 2. Гл. XIX]. И хотя Гачев остроумно сближает «Войну и мир» с «Илиадой» — довольно убедительно сравнивает поведение Николая Ростова во время богучаровского бунта с тем, как Одиссей расправляется с Терситом, а потом тому же Одиссею, пренебрегающему софистикой Терсита, уподобляет Кутузова на совете в Филях: «...властью, силой, знающей своё право волей — Кутузов и Одиссей решают ситуацию» [*Гачев*. С. 129—136], воскресить «Илиаду» во всей её полноте и простоте не под силу даже Толстому. Жанр — точка зрения на мир; едва ли возможно в XIX веке нашей эры смотреть на мир так, как его видели в VIII в. до новой эры.

Современники почувствовали жанровую непривычность «Войны и мира» и, за немногими исключениями, не приняли её. П.В. Анненков в сочувственной, в общем, статье «Исторические и эстетические вопросы в романе гр. Л.Н. Толстого “Война и мир”», перечислив множество восхищающих его эпизодов, спрашивает: «Не великолепное ли зрелище всё это, в самом деле, от начала и до конца?», — но тут же и замечает: «Да, но куда оно происходило, роман, в прямом значении слова, не двигался с места или, если двигался, то с невероятной апатией и медленностью». «Да где же он сам, роман этот, куда он девал свое настоящее дело — развитие частного происшествия, свою “фабулу” и “интригу”, потому что без них, чем бы роман ни занимался, он всё будет казаться *праздным* романом, которому чужды его собственные и настоящие интересы», —

пишет критик [Анненков. С. 44—45]. П.А. Вяземский был настроен воинственно — и среди его претензий к «Войне и миру» была и такая: «<...> в упомянутой книге трудно решить и даже догадываться, где кончается история и где начинается роман, и обратно» [Вяземский. С. 281]. Можно привести множество примеров неприятия критиками (а значит, и читателями) жанровых особенностей толстовской книги: «<...> Читатель не находит в рассказе ни истории, ни романа», — пишет критик «Харьковских ведомостей»; между эпизодами нет связи, и даже если их переставить, «романическое действие по-прежнему останется в своём ленивом, полусонном развитии» [1868. № 48; «Письма о русской журналистике». II. «Война и мир» гр. Толстого. М., 1868 года. Т. IV; подп. К.]; «Мы называем сочинение графа Л.Н. Толстого романом только для того, чтоб дать ему какое-нибудь имя; но “Война и мир”, в строгом смысле слова, не роман. Не ищите в нём цельного поэтического замысла, не ищите единства действия: “Война и мир” — просто ряд характеров, ряд картин, то военных, то на поле битвы, то вседневных, в гостиных Петербурга и Москвы» [газ. «Голос». 1868. № 11. С. 1 («Библиография и журналистика». Без подписи)]. «Это батально-исторический роман», — пишет А. Пятковский в «Неделе»; ссылка на автора «Мёртвых душ» кажется критику нескромной: не стоит Толстому равнять себя с Гоголем, с которого пошла натуральная школа [№ 22. С. 701]. Откликаясь на первые три тома, критик «Русского инвалида» (А. И-н) писал о «Войне и мире»: «Это — спокойная эпопея, написанная поэтом-художником, который выводит пред вами живые лица, анализирует их чувства, описывает их поступки с бесстрашием пушкинского Пимена. Отсюда — достоинства и недостатки романа» [«Русский инвалид». 1868. № 11; Журнальные и библиографические заметки. «Война и мир». Сочинение графа Л.Н. Толстого. 3 тома. М., 1868]. О недостатках будет сказано довольно подробно: «“Война и мир” не может быть “Илиадою”, — пишет критик, — и гомеровское отношение к героям и жизни невозможно». Современная жизнь сложна — и «невозможно с одинаковым спокойствием и самоуслаждением описывать и прелести псовой охоты вместе с достоинствами собаки Карая, и величест-

венную красоту, и умение негодяя Анатоля держать себя, и туалет барышень, отправляющихся на бал, и страдания русского солдата, умирающего от жажды и голода в одной палате с разложившимися мертвецами, и такую ужасную бойню, как Аустерлицкая битва» [Там же]. Как видим, критик вполне почувствовал жанровое своеобразие книги Толстого — и не захотел это своеобразие принять. В.П. Буренин в «Санкт-Петербургских ведомостях» [1868. № 24. С. 1. «Русская литература», «Война и мир», сочинение графа Л.Н. Толстого. М., 1868; подп. Z] замечает, что автор не без причины не назвал своего сочинения романом: «“Война и мир” не есть роман уже потому, что автор набрасывает ряд картин, более или менее широких, весьма мало заботясь о том, насколько размеры и подробности этих картин необходимы для выяснения характеров избранных героев и их отношений друг к другу».

Всё это писалось до окончания книги — последние тома вызвали ещё большие претензии: «Его роман, по нашему мнению, всё-таки остался не вполне оконченным, несмотря на то, что половина действующих в нём лиц перемёрла, а остальные сочетались между собою законным браком. Точно будто самому автору надоело возиться со своими уцелевшими героями романа, и он, на скорую руку, свёл кое-как концы с концами, чтобы поскорее пуститься в свою бесконечную метафизику» [«Петербургская газета». 1870. № 2. С. 2]; «Картина, представляемая автором, по своей обширности и неравномерности эпизодов, является до излишества многосложною и запутанною: в ней нет ни симметрии, ни согласия частей» [газ. «Сын Отечества». 1870. 5 янв.⁸]. Впрочем, Н. Соловьёв заметил, что книга Толстого — «какая-то поэма-роман, форма новая и столь же соответствующая обыкновенному ходу жизни, сколько и безграничная, как сама жизнь. Романом просто назвать “Войну и мир” нельзя: роман должен быть гораздо определённое в своих границах и про-

⁸ Та же газета за год до этого «общий голос критики» по поводу книги Толстого передавала так: «Это одно из первых по достоинству произведений нашей литературы; это образчик художественной отделки и художественного выражения духа эпохи и положения в известный момент общества» [«Сын Отечества». 1869. № 56; подп. А.Х.]

заичнее в содержании: поэма же как более свободный плод вдохновения стеснению никакому не подлежит» [*Соловьёв*. С. 172]. Любопытно замечание Н.Н. Страхова, убеждавшего Толстого летом (или осенью) 1873 года — когда писатель уже работал над «Анной Карениной»: «О форме (как Вы сами говорили) заботиться нечего: сама придёт. Разве “Война и мир” не представляет в этом отношении полнейшей оригинальности? Наш первый словесник, Никитенко, недаром разгневался на то, что “Война и мир” не *подходит ни под один род словесных произведений*» [*Страхов—1914*. С. 35]. Но важно вспомнить и такое, например, замечание — рецензент «Биржевых ведомостей» [1870. № 149 (суббота, 4 апреля). Фельетон. «Война и мир». Сочинение графа Л.Н. Толстого. Том шестой. Москва. 1869. С. 3; без подписи], опережая будущих исследователей жанра «Войны и мира», писал: «<...> роман графа Толстого можно было бы в некотором отношении считать эпопеею великой народной войны, имеющею своих историков, но далеко не имевшею своего певца» (и в этой рецензии обнаруживается сравнение «Войны и мира» с «Илиадой»).

Как видим, авторские предуведомления о том, что «Война и мир» не роман, не возымели действия — причём не только на современников, но и на позднейших читателей. В этом легко убедиться: посмотрите на список литературы, приложенный к этой книжке, и вы увидите, сколько раз в заглавиях этих книг и статей встречается слово «роман». Хотя, конечно, В.Б. Шкловский прав: «Только позднее сознание читателя примирилось с чудовищностью конструкции “Войны и мира” и даже эстетизировало эту первоначальную композиционную ошибку <...>» [*Шкловский—1928*. С. 232]. «Эстетизировало» — то есть нашло более-менее приемлемое жанровое определение для «Войны и мира». Впрочем, чуткий Страхов, первый и, наверное, единственный из современников, сказавший о безусловной гениальности нового произведения Толстого, определил его жанр как «семейную хронику», а в последней статье о «Войне и мире» написал, что это — «эпопея в современных формах искусства» [*Страхов I*. С. 224, 268].

СМЫСЛ ЗАГЛАВИЯ

Что такое война в «Войне и мире»? Это, понятно, война между армиями — описание сражений составляет значительную часть первого, третьего и некоторую часть четвёртого томов. Но в мирном втором томе тоже есть война: это дуэль между Пьером и Долоховым, это, конечно, и карточная игра Долохова с Николаем, которая довольно скоро превращается в поединок между ними. А столкновение князя Андрея с обозным офицером (в первом томе)? А борьба за мозаиковый портфель? Наконец, разлад в душе Пьера после дуэли, когда ему кажется, что нет и не было никакого смысла не только в его жизни, но и в общей жизни всего человечества?

А что такое мир? Это не просто отсутствие войны, то есть мирные сцены в книге. Это согласие, гармония, любовь человека к человеку. Вот известная сцена из первого тома — Николай Ростов возвращается с фуражировки:

Хозяин-немец, в фуфайке и колпаке, с вилами, которыми он вычищал навоз, выглянул из коровника. Лицо немца вдруг просветлело, как только он увидел Ростова. Он весело улыбнулся и подмигнул: «Schön, gut Morgen! Schön, gut Morgen!» — повторял он, видимо, находя удовольствие в приветствии молодого человека. — Schön fleissig! — сказал Ростов всё с тою же радостною, братскою улыбкой, какая не сходила с его оживлённого лица. — Hoch Oestreicher! Hoch Russen! Kaiser Alexander hoch! — обратился он к немцу, повторяя слова, говоренные часто немцем-хозяином.

Немец засмеялся, вышел совсем из двери коровника, сдёрнул колпак и, взмахнув им над головой, закричал:

— Und die ganze Welt hoch!

Ростов сам так же, как немец, взмахнул фуражкой над головой и, смеясь, закричал: «Und Vivat die ganze Welt!» Хотя не было никакой причины к особенной радости ни для немца, вычищавшего свой коровник, ни для Ростова, ездившего со взводом за сеном, оба человека эти с счастливым восторгом и братскою любовью посмотрели друг на друга, потрясли головами в знак взаимной любви и улыбаясь разошлись — не-

мец в коровник, а Ростов в избу, которую занимал с Денисовым [Т. 1. Ч. 2. Гл. IV]⁹.

Если все смыслы слова «война» были заложены в одном многозначном слове, то слов, обозначающих мир как отсутствие войны и мир как вселенную в европейских языках по два: «Frieden» и «Welt» в немецком; «Peace» и «World» в английском, «Paix» и «Monde» — во французском языке. И в русском языке до реформы 1918 года было два разных слова: «миръ» и «миръ». В современном русском языке это омонимы.

В рукописях Толстого встречаются два заглавия: «Три поры» — один из самых ранних вариантов начала — и «С 1805 по 1814 год» (заглавие двенадцатого варианта начала; см. [Зайденинур. С. 67]). В письме к А.А. Фету 10...20 мая 1866 г. Толстой писал: «Роман свой я надеюсь кончить к 1867 году и напечатать весь отдельно <...> под заглавием “Всё хорошо, что хорошо кончается”» — больше это заглавие нигде не упоминается. Как сообщает Гусев, заглавие «Война и мир» впервые появляется в заметке, напечатанной в № 1 (1867) астраханской газеты «Восток»: «Граф Л.Н. Толстой окончил половину своего романа, появлявшегося в *PB* под именем “1805 год”. В настоящее время автор довёл свой рассказ до 1807 года и закончил Тильзитским миром. Первая часть, уже известная читателям *PB*, значительно переделана автором, и весь роман под заглавием “Война и мир” в четырёх больших томах с превосходными рисунками в тексте выйдет отдельным изданием не ранее, однако же, конца будущего <1867> года». Он же заметил, что в письме А.Е. Берса к Толстому от 9 марта 1867 года впервые встречается <в переписке Толстого — Л.С.> заглавие «Война и мир» [Гусев—1957. С. 741]. В конце марта Толстой готовится заключить договор с типографией Каткова и своей рукой вписывает заглавие «Война и миръ» (в отличие от многих исследователей, склонных придавать особое значение

⁹ В качестве почти анекдотического отклика приведу одну фразу из рецензии «Петербургской газеты» на 6-й — последний — том «Войны и мира»: «В продолжение всех шести томов автор описывает нам беспрерывную войну, ну а мир-то когда же будет?» [1870. № 2. С. 2; подп. П.].

этому написанию — м і р ь — Н. Гусев видит здесь «не что иное, как описку Толстого, вызванную, вероятно, поспешностью при заключении условия» [*Там же*. С. 742]).

Об источниках этого заглавия высказывались самые различные предположения. Его возводили к книге Прудона «La guerre et la paix» [*Эйхенбаум—1928*. С. 385; *Эйхенбаум—1931*. С. 284—287] — Толстой был знаком с Прудоном, а сам французский публицист был в начале 1860-х гг. весьма популярен в России. Указывали на цикл статей А.И. Герцена из «Колокола» [*Лесскис*. С. 391]; Гусев упоминает в связи с заглавием книги Толстого строку Ломоносова из трагедии «Томира и Селим», стихотворения С. Раича и В. Бенедиктова с таким же заглавием, выражение С. Глинки, в «Записках» которого сказано, что «мир и война шли рядом». Он же считает, что всего вероятнее здесь реминисценция из пушкинского «Бориса Годунова», в словах Пимена: «Описывай, не мудрствуя лукаво, / Всё то, чему свидетелем ты будешь: / Войну и мир, управу государей...» [*Гусев—1957*. С. 742].

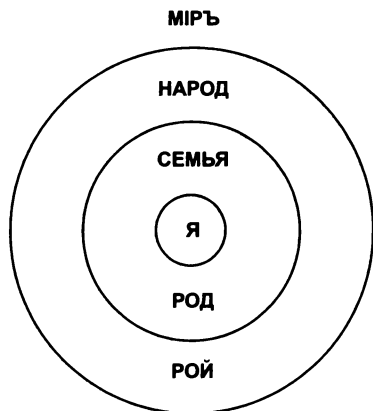
Возможно, всё это справедливо, но русская литература (и не только русская, конечно) знает множество заглавий, составленных из антонимов: не забираясь далеко, во времена Жуковского, автора стихотворения «Странствователь и домосед», легко можно вспомнить романы «Отцы и дети», «Преступление и наказание», пьесу «Волки и овцы»... Так что Толстому могли и не вспомниться заглавия и строчки предшествовавших произведений — он назвал свою книгу именно так, а не иначе именно потому, что в ней война противостоит миру. Как заметил Н. Соловьёв, Толстой «своим художественным чутьём дошёл до убеждения, что война есть распадение условий жизни, а мир — сохранение этих условий и источник жизненной гармонии. Под влиянием этой-то грандиозной и вместе простой мысли написано, кажется, и заглавие сочинения» [*Соловьёв*. С. 174].

И так же, как заглавия романов Тургенева и Достоевского, заглавие толстовской книги многозначно. Бочаров, автор очень важной статьи «“Мир” в “Войне и мире”» [*Бочаров—1985*], пишет о «едином сверхзначении», «всезначении» слова *мир*, соединяющем «мир» (отсутствие войны) и «м і р ь» (вселенная). Другими словами — *согласие* и

сообщество. Но у Толстого есть выражение «в миру» — т.е. мирская жизнь, идущая за пределами Павлоградского полка (для Николая Ростова); таким «монастырём», отделяющим героя от мирской жизни, для Пьера станет масонская ложа, а для князя Андрея после Аустерлица — богучаровская уединённая жизнь. Важно, что для обоих ищущих героев книги уединение, заточение оказывается лишь временной мерой — они неизбежно возвращаются в большой мир. Но Пьер в разговоре с князем Андреем противопоставляет землю и мир: «На земле, именно на этой земле (Пьер указал в поле) нет правды — всё ложь и зло; но в мире, во всём мире есть царство правды, и мы теперь дети земли, а вечно дети всего мира». Здесь *мир* значит вечность, бессмертие души — именно об этом станет думать князь Андрей перед смертью, когда постепенно будет освобождаться от всего, что привязывало его к земле, к этой жизни. Бочаров очень убедительно различает это «в миру» и «в мире» — «мирское и мировое» [Бочаров—1985. С. 237].

Наташа Ростова в первые дни войны молится в домашней церкви Разумовских: «Миромъ Господу помолимся». «Миромъ, все вместе, без различия сословий, без вражды, а соединённые братской любовью — будем молиться, — думала Наташа». Здесь, как замечает Бочаров, «объединяются оба главных значения: “все вместе” и “без вражды”» [Там же. С. 240]. В с е м м и р о м молятся солдаты, офицеры, ополченцы, Кутузов и его генералы перед Бородинским сражением. И война — народная война — ведётся не армией только, а всем м и р о м. «Мир — не просто вся связь человеческой жизни (жизнь “в миру”), но особая, внутренняя, разумная связь, целесообразный порядок» [Бочаров—1963. С. 69].

Кажется, строение толстовской книги можно представить в виде бесконечного множества концентрических окружностей, в центре которых отдельное человеческое «Я» (как известно, отдельная личность у Толстого — это целая вселенная) — см. рисунок. Но есть герои, ограниченные этим своим «Я», не способные выйти за его пределы — таковы Берг, Курагины, Друбецкой, Наполеон. Конечно, эти «точки» никогда не разрастутся во вселенную — слиш-



ком мало они способны вобрать в себя. Ни о каком сопряжении своего «Я» и целого мира здесь не может быть и речи — это обособленное существование, обречённое на полное исчезновение (никто после смерти Анатоля Курагина не вспоминает о нём, да и воспоминание Пьера об умершей жене важно для него, а не для неё — ср. явление князя Андрея в сне его сына). Самая малая общность — семья, род: среди героев Толстого есть немало таких, кто способен чувствовать себя частью этого небольшого целого (такова, например, графиня Ростова), но не способен ощущать себя в сопряжении с большим единством. Это может быть временным состоянием героя — например, князь Андрей после Аустерлица замкнулся в себе и в своей частной жизни; на вопрос Пьера: «А сын, сестра, отец?» — Болконский отвечает: «Да это всё тот же я, это не другие» [Т. 2. Ч. 2. Гл. XI]. Сейчас, в эту пору, князь Андрей отгораживается от большого мира; пройдет немного времени, и он почувствует себя частью «роя», народа.

«Рой» (народ) — и есть следующий уровень общности. Ферапонтов, хозяин постоялого двора в Смоленске, и Тихон Щербатый, крестьянин, примкнувший к партизанскому отряду, московская барыня, «которая ещё в июне месяце с своими арапами и шутихами поднималась из Москвы в саратовскую деревню» [Т. 3. Ч. 3. Гл. V], мужики Карп и Влас, что «не везли сена в Москву за хорошие деньги, которые им предлагали, а жгли его» [Т. 4. Ч. 3. Гл. I], — все эти (и многие другие) персонажи тол-

стовской книги ощущают опасность для «роя» как опасность для себя. Они и есть н а р о д.

Если бы составить свод значений слова н а р о д, встречающихся у русских писателей, журналистов и публицистов хотя бы лишь XIX века, получился бы огромный том. Для Толстого народ — это явно не только крестьяне, не только простонародье; напротив, те крестьяне, что приезжают грабить Москву, или те, что не пускают княжну Марью выехать их Богучарова — народ ли они? Ведь ясно, что н а р о д в «Войне и мире» — это те люди, что в 1812 году чувствуют общую опасность — т.е. опасность для «роя» — как свою, для себя. Напомню хрестоматийное место: князь Андрей перед Бородинским сражением говорит Пьеру: «Французы разорили мой дом и идут разорить Москву, и оскорбили и оскорбляют меня всякую секунду. Они враги мои, они преступники все, по моим понятиям. И так же думает Тимохин и вся армия. Надо их казнить». Светлейший князь Кутузов и ополченцы, что от водки отказались, граф Безухов и тот солдат, что сказал: «Всем народом навалиться хотят»; Василий Денисов и Долохов (вспомним его слова, сказанные Пьеру перед Бородинским сражением) — все они входят в единое целое под названием н а р о д. Важно и то, что общее чувство, соединяющее всех в 1812 году, исчезнет — и Пьер в поисках истины вступит в тайное общество, «чтобы завтра Пугачёв не пришел зарезать и моих и твоих детей» [Эпilog. Ч. 1. Гл. XIV].

Но есть и более важная общность — та, что обозначена словом «мир» («міръ»). Вот в занятой французами Москве Пьер спасает от смерти французского капитана Рамбалья; вот Денисов опекает пленного барабанщика, а партизаны переделали его имя в Весеннего и Висеню («А мальчонок шустрый, — сказал гусар, стоявший подле Пети. — Мы его покормили давеча»). Когда Рамбаль и Морель, голодные и замёрзшие, подходят к костру, их не только накормили и обогрели: Толстой считает нужным, чтобы «с разных сторон слышались упрёки пошутившему солдату» (тот спросил у обессиленного Рамбалья: «Что? не будешь?») [Т. 4. Ч. 4. Гл. IX]. И, наконец, вспомните слова Кутузова, сказанные по дороге из Красного:

«Пока они были сильны, мы себя не жалели, а теперь их и пожалеть можно. Тоже и они люди». Это и есть чувство мира — общности всех людей.

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ

«Историческим главам “Войны и мира” не посчастливилось, — пишет Я.С. Лурье, автор единственной, по-видимому, книги, посвящённой историческим воззрениям Толстого. — Большинство читателей их пропускают или наскоро проглядывают, торопясь вернуться к основным героям романа; вторую часть “Эпилога”, выходящую за рамки сюжета, читают немногие» [Лурье. С. 11]. Книга Лурье представляется мне наиболее убедительным исследованием историософии «Войны и мира» — прежде всего потому, что автор не правит Толстого, не торопится отыскать заблуждения писателя, а стремится понять его воззрения.

«Я знал, что в моей книге будут хвалить чувствительную сцену барышни, насмешку над Сперанским и т.п. дребедень, которая им по силам, а главное-то никто не заметит. <...> Мысли мои о границах свободы и зависимости и мой взгляд на историю не случайный парадокс, который на минуту занял меня. Мысли эти — плод всей умственной работы моей жизни», — писал Толстой Погодину 21—23 марта 1868 года. Критика историософских идей Толстого началась с выхода «бородинской» части его книги и продолжается без малого полтора века: теперь уже каждый школьник знает, что Толстой чего-то недопонимал и в чём-то заблуждался. О противоречиях Толстого говорили и говорят во всех (за малым исключением) работах о «Войне и мире»¹⁰; современники упрекали его в необразованности, в том, что он говорит об-

¹⁰ Приведу запись Н.Н. Гусева «Мнимые противоречия»: «О Каратаеве в “Войне и мире” сказано: “Часто он говорил совершенно противоположное тому, что он говорил прежде, но и то и другое было справедливо”. Это самое можно сказать и про самого Толстого. Он часто говорил совершенно противоположное тому, что он говорил раньше. Но, анализируя то, что он говорил теперь, и то, что он говорил раньше, видишь, что и то и другое справедливо, потому что раньше он говорил о предмете с одной стороны, а теперь говорит о том же предмете с другой стороны» [Гусев—1978. С. 479].

шеизвестные истины, в том, что он просто «чудит». Так, В.П. Буренин [«Санкт-петербургские ведомости». 1868. № 86; подп. Z] пишет о «философии, забравшейся в роман в ущерб художественной правде». Через год тот же критик писал: «Подобно тому, как в четвёртом томе граф Толстой поражал своих читателей фаталистической философией истории, которая приплеталась автором, что называется, ни к селу ни к городу, в пятом томе он вновь поражает таковой философией; подобно тому, как там оригинальная критика военных событий и стратегических планов двенадцатого года неловко путалась с похождениями героев и героинь, так путается она и здесь; <...> автор выражает свои максимы ещё более упорно, уверенно, с видимым сознанием их необычайности и новosti, подбирает для их доказательства образные сравнения, которые, впрочем, не доказывают ровно ничего» [«Санкт-петербургские ведомости». 1869, № 69; подп. Z]. В газете «Голос» после снисходительного пересказа толстовских размышлений о причинах исторических событий написано: «Автор совсем потопил своё художественное творчество во всех этих туманных и ребячески наивных рассуждениях, и если освободить от них книгу Толстого, то останется лишь немного тех объективных картинок, которые пленяли нас в предыдущих томах» [1869. № 70. С. 1 (Библиография. «Война и мир», графа Л.Н. Толстого, том пятый); подп. Ю-ов].

Ещё симптоматичнее выразился Н.Д. Ахшарумов, противопоставивший замечательного художника плохому мыслителю: «К счастью, он поэт и художник в десять тысяч раз более, чем философ. И никакой скептицизм не мешает ему как художнику видеть жизнь во всей полноте её содержания, со всеми её роскошными красками; и никакой фатализм не мешает ему как поэту чувствовать энергический пульс истории в тёплом, живом человеке, в лице, а не в скелете философического итога. Благодаря этому ясному взгляду и этому тёплому чувству и назло его отвратительной философии мы имеем теперь историческую картину, полную правды и красоты, картину, которая перейдёт в потомство как памятник славной эпохи» [Ахшарумов. С. 115].

Б.М. Эйхенбаум, доказывая, что взгляды Толстого на историю сложились ещё в первую пору его педагогиче-

ской деятельности и обнаруживаются, в частности в статье «Прогресс и определение образования», писал: «Ошибочно было бы отнести ко всему этому как к простому “чужачеству” гения — если “чужачество” могло стать почвой, из которой выросла “Война и мир”, значит в этой почве были какие-то здоровые и сильные жизненные соки» [*Эйхенбаум—1969. С. 377*].

Ещё в 1853 году, читая «Историю» Устрялова, Толстой запишет в дневнике (17 декабря): «Каждый исторический факт необходимо объяснять *человечески* и избегать рутинных исторических выражений». Дописывая «Войну и мир», Толстой чётко различал дело историка и дело художника: «Для историка, в смысле содействия, оказанного лицом какой-нибудь одной цели, есть герои; для художника, в смысле ответственности этого лица всем сторонам жизни, не может и не должно быть героев, а должны быть люди». И далее: «Историк имеет дело до результатов события, художник — до самого факта события» [«Несколько слов по поводу книги “Война и мир”», 1868]¹¹. Возможно, поэтому и в военных рассказах, и в «Войне и мире» (в Шёнграбенском сражении заметнее, в Бородинском — слабее) взгляд героя на происходящее важнее, чем так называемый «объективный смысл» события. Страхов заметил это ещё в 1869 году: «Художника как будто вовсе не занимает событие, а занимает только то, как действует при этом событии человеческая душа, — что она чувствует и вносит в событие?» [*Страхов 1. С. 206*]. И ещё важнее замечание критика в той же статье: «Главная мысль, которою он руководится при изображении героических явлений, состоит в том, чтобы открыть их *человеческую* основу, показать в героях — *людей*» [*Там же. С. 212*].

¹¹ «Пояснительная записка гр. Толстова», т.е. названная статья, напечатанная в *РА* в марте 1868 года, показала «очень неудовлетворительную» П.А. Вяземскому: «Что же тут *бессмысленного*, что причины событий 12 года заключаются в завоевательном духе Наполеона и патриотической твёрдости Александра. Оно так и есть. <...> К тому же роман не история. И во всяком случае в романе должны действовать люди, их побуждения, страсти, одним словом, личности. А если видеть в лицах одни слепые орудия, то незачем и писать романа» [*РГАЛИ. Ф. 46. Оп. 1. Ед. 153 (письмо к П. Бартеневу от 27 марта 1868 года)*].

Страхов, возможно, единственный критик, который принял сторону Толстого в споре с историками: «С наивностию, которую по всей справедливости можно назвать гениальной, он почти прямо утверждает, что историки, по самому свойству своих приёмов и исследований, могут изображать события только в ложном и превратном виде, — что настоящий смысл, настоящая правда дела доступны только художнику. И что же? Как не сказать, что гр. Л.Н. Толстой имеет немалые права на подобную дерзость относительно истории? Все исторические описания двенадцатого года действительно являются какою-то ложью в сравнении с живою картиною “Войны и мира”» [Страхов I. С. 212]. И далее критик объясняет свою — и толстовскую, насколько он её понимает — точку зрения: «<...> не только историческая, но и всякая человеческая жизнь управляется не умом и волею, т.е. не мыслями и желаниями, достигшими ясной сознательной формы, а чем-то более тёмным и сильным, так называемую *натурою* людей. Источники жизни (как отдельных лиц, так и целых народов) гораздо глубже и могущественнее, чем тот сознательный произвол и сознательное соображение, которыми, по-видимому, руководятся люди. Подобная *вера в жизнь* — признание за жизнью большего смысла, чем тот, какой способен уловить наш разум, разлита по всему произведению гр. Л.Н. Толстого; и можно бы сказать, что на эту мысль написано всё это произведение» [Там же. С. 219—220].

Любопытно, что Фет ещё летом 1866 года определял главную задачу толстовской книги («Тысяча восемьсот пятый год») так: «Выворотить историческое событие наизнанку и рассматривать его не с официальной, шитой золотом стороны парадного кафтана, а с сорочки, то есть рубахи, которая *к телу ближе* и под тем же блестящим общим мундиром у одного голландская, у другого батистовая, а у иного немытая, бумажная, ситцевая» [Переписка. Т. I. С. 379]. И хотя ещё в 1869 году М.Ф. Де-Пуле написал: «Последний школьник знает, что он читает роман, а не историю, и что по книге Толстого нельзя готовиться к экзамену» [Де-Пуле. С. 329], — по-прежнему по «Войне и миру» пытаются изучать войну 1812 года и упрекать автора в том, что он отклоняется от исторических источников.

В толстовских исторических взглядах вновь проявилась его «невольная оппозиция всему общепринятому в области суждений» [Фет. Т. I. С. 106]. Подчеркнем: следствие этой «оппозиции» — не «обратное общее место», а суть явления, очищенная от трафаретов восприятия. Критерий, как и прежде, — здравый смысл. От каких причин началась война 1812 года? Перечисляя все называемые историками причины, Толстой подчеркивает их несостоятельность именно с точки зрения здравого смысла. Если одна из причин — ошибки дипломатов, то, спрашивает Толстой, «стоило только Меттерниху, Румянцеву или Талейрану хорошенько постараться и написать по-искуснее бумажку», — и войны бы не было? «Обида герцога Ольденбургского?» «Нельзя понять, — продолжает размышлять автор, — почему вследствие того, что герцог обижен, тысячи людей с другого края Европы убивали и разоряли людей Смоленской и Московской губерний и были убиваемы ими» [Т. 3. Ч. 1. Гл. I]. Ответ Толстого: «совпали миллиарды причин».

При этом Наполеон, приказавший войскам наступать, и французский капрал, пожелавший поступить на вторичную службу, равно участвуют в этом совпадении причин. Каждый человек свободно совершает свои поступки, но, совершённые, поступки эти включаются в общую цепь предшествующих и последующих действий множества других людей и получают «историческое значение» [Там же]¹²; (эта мысль казалась многим современникам абсурдной — так, Ахшарумов писал: «Вывод такой, что действие человеческое свободно, пока он не сделал его, но *после того*, как сделал, оно становится вынужденным, определённым задолго до его свершения, определённым предвечно... Этого, признаемся, мы не можем понять, и

¹²Как пишет Г.А. Лесскис, «близкую к этой мысль задолго до Толстого высказал Кант в работе “Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане” (1784): “Отдельные люди и даже целые народы мало думают о том, что когда они, каждый по своему разумению и часто в ущерб другим, преследуют свои собственные цели, то они незаметно для самих себя идут к неведомой им цели природы как за путеводной нитью и содействуют достижению этой цели, которою, даже если бы она стала им известна, они бы мало интересовались”» [Кант И. Сочинения в шести томах. М., 1966. Т. 6. С. 7 8].

мы предпочли бы вовсе не объяснять ничего, чем объяснять таким способом» [*Ахшарумов*. С. 113]).

Каждый участник войны считал себя свободным и действовал «вследствие своих личных свойств, привычек, условий и целей». «Они боялись, тщеславились, радовались, негодовали, рассуждали, полагая, что они знают то, что они делают, и что делают для себя, а все были произвольными орудиями истории и производили скрытую от них, но понятную для нас работу. Такова неизменная судьба всех практических деятелей, и тем не свободнее, чем выше они стоят в людской иерархии» [Т. 3. Ч. 2. Гл. I]. Николай Ростов в 1812 году не стал просить отставку или отпуск, а остался в полку; московская барыня, которая «с своими арапами и шутихами» уехала из Москвы, бросив дом, и множество других русских людей делали «просто и истинно то великое дело, которое спасло Россию» [Т. 3. Ч. 3. Гл. V]. Как и в пушкинской «Капитанской дочке», в «Войне и мире» история совершается «в рядах», обыкновенными людьми, не склонными к высокой фразе или торжественной позе (впервые эти две книги сопоставлены Страховым в его статьях о «Войне и мире»); «истинное благо и свобода человека лежит не в высших, а в низших сферах <...> Для достижения великих человеческих целей люди должны стремиться не в высшие, а в низшие сферы» [*ПСС—90*. Т. 15. С. 238 (там же о фатализме восточных народов)].

А великие люди — полководцы, монархи, герои? «Так называемые великие люди суть ярлыки, дающие наименование событию»; «Царь есть раб истории» [Т. 3. Ч. 1. Гл. I]. Всякая попытка сознательно воздействовать на ход истории обречена: «Те же, которые пытались понять общий ход дел и с самопожертвованием и геройством хотели участвовать в нём, были самые бесполезные члены общества; они видели всё наыворот, и всё, что они делали для пользы, оказывалось бесполезным вздором, как полки Пьера, Мамонова, грабившие русские деревни, как корпия, шипанная барынями и никогда не доходившая до раненых, и т.п.» [Т. 4. Ч. 1. Гл. IV].

«Какая сила движет народами?» — спрашивает Толстой [Эпилог. Ч. 2. Гл. II]. «На этот вопрос новая история озабоченно рассказывает или то, что Наполеон был очень

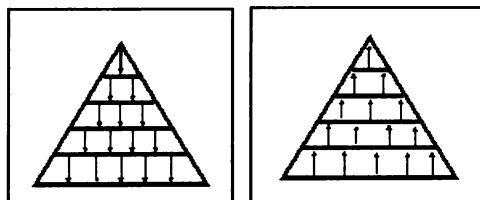
гениален, или то, что Людовик XIV был очень горд, или ещё то, что такие-то писатели написали такие-то книжки» [*Там же*. Гл. I]. Здесь неизбежно возникает разговор о фатализме в понимании Толстого; как сказано в начале III тома, «фатализм в истории неизбежен для объяснения неразумных явлений (то есть тех, разумность которых мы не понимаем)». Где кончается свобода и начинается необходимость в поступках людей? Идея Толстого предполагает «не постоянное вмешательство провидения в общественно-исторический процесс, а “предвечную” предопределённость раз и навсегда “всего”, что происходит на земле. В том числе и “хода истории”, движущей силой которого является *самодвижение* народов. Самодвижение, а не персональная воля отдельных власть имущих лиц. Но каждый его шаг является объективным результатом разнонаправленных и в этом только смысле “случайных” личных произволов миллионов людей, результатом, не предусмотренным ни одним из них. Таково соотношение, и вполне логичное, “необходимости” и “случайности” в историософии Толстого» [*Куприянова*. С. 162]. Не случайно в черновиках читаем: «Фатализм для человека такой же вздор, как произвол в исторических событиях» [*ЛСС—90*. Т. 13. С. 56].

Но вопрос о смысле истории, то есть движения человечества, остаётся, и Толстой не избегает говорить о нём: «Есть законы, управляющие событиями, отчасти неизвестные, отчасти нащупываемые нами. Открытие этих законов возможно только тогда, когда мы вполне отрешимся от отыскания причин в воле одного человека, точно так же, как открытие законов движения планет стало возможно только тогда, когда люди отрешились от представления утверждённости земли» [Т. 4. Ч. 2. Гл. I]. Впрочем, в «Войне и мире» неоднократно утверждается невозможность познать цели общего движения: «<...> каждая личность носит в самой себе свои цели и между тем носит их для того, чтобы служить недоступным человеку целям общим» [Эпилог. Ч. 1. Гл. IV].

Толстому понадобилось важнейшее в его воззрениях понятие «дифференциал истории», чтобы объяснить причины происходящих событий: «Только допустив бесконечно малую единицу для наблюдения — дифференциал

истории, то есть однородные влечения людей, и достигнув искусства интегрировать (брать суммы этих бесконечно малых), мы можем надеяться на постигновение законов истории» [Т. 3. Ч. 3. Гл. I]. «Дифференциалы истории» — это однородные, элементарные «влечения людей»; Я. Лурье приводит в качестве примеров подобных однородных влечений стремление французов в Москву; он цитирует Толстого: «Солдаты французской армии шли убивать русских солдат в Бородинском сражении не вследствие приказа Наполеона, но по собственному желанию. Вся армия: французы, итальянцы, немцы, поляки, — голодные, оборванные, измученные походом, — в виду армии, загораживавшей от них Москву, чувствовали, что *le vin est tiré et qu'il faut le boire*. Ежели бы Наполеон запретил им теперь драться с русскими, они бы его убили и пошли бы драться с русскими, потому что это было им необходимо». «Толстой здесь вовсе не обвинял французов в особой воинственности, — пишет Лурье. — Наполеоновские войска шли, “чтобы найти пищу и отдых победителей в Москве”» [Лурье. С. 21]. И далее исследователь приводит ещё два примера «однородных влечений» — «удовлетворение потребностей», о котором пишет Толстой в связи с пребыванием Пьера в плену, и стремление французов из Москвы, когда «их встретили пустая столица, голод и холод». «Можно ли сказать, что они “согласились” подчиниться приказу Наполеона об отступлении из России? Не правильнее ли будет сказать, что, скорее, Наполеон “согласился” на это стихийное движение, которое вовсе не входило в его первоначальные намерения?» [Лурье. С. 22].

По общепринятой логике, император отдает приказ маршалам, те — генералам, которые передают его офицерам, и т.д. до солдат, которым этот приказ надлежит выполнить. По Толстому, все наоборот (рисунок). Солдаты



наиболее свободны от внешних соображений, в том числе и от приказов, так как именно они рискуют жизнью, они должны наступать или отступать и руководит ими чувство — страх или решимость, ненависть или отвага. Раздается крик: «Отрезали!» — и никакая диспозиция, никакие приказы (в том числе и Кутузова) не остановят бегства солдат — так было при Аустерлице. Если же они ощущают общую опасность, если в них живёт «роевое чувство», как при Бородине, Наполеону не помогут ни его военный талант, ни численное превосходство его армии. И получается, по Толстому, что могут быть выполнены лишь те приказы, которые совпадают с возникшей ситуацией, с тем, что делается «само собою» [Эпилог. Ч. II. Гл. VI].

Но зачем тогда нужен Кутузов? В войне 1805—1807 годов он стремится вывести русскую армию из сражения, уменьшить число жертв. Шёнграбенское дело ему удаётся: русская армия, прикрытая отрядом Багратиона, отступила и соединилась с союзниками. Аустерлицкое сражение было дано, несмотря на нежелание Кутузова, — и было проиграно.

Пока война 1812 года была войной двух армий, главнокомандующим мог быть Александр I (князь Андрей говорит о министре, имея в виду Барклая де Толли), но как только чувство опасности стало общим, всенародным, как только война стала народной (в книге этот момент совпадает с пожаром Смоленска), России понадобился «свой, родной человек», как скажет князь Андрей Пьеру накануне Бородинского сражения. Между тем Толстой знал письмо Александра I (от 27 июня 1812 г.) к Барклаю де Толли: «Я решился призвать народ к истреблению врага, вторгнувшегося в наши пределы, как к такому делу, которого требует сама вера. Надеюсь, что мы в этом отношении не уступим испанцам» [Богданович. Т. I. С. 171]. Таким образом народная война была провозглашена царём ещё до оставления Смоленска.

Толстовский Кутузов выразил общую волю народа — и когда грозил французам, что они «будут <...> лошадиное мясо есть», и когда в своей «простодушно-стариковской речи» сказал, что «теперь их и пожалеть можно». Ему ничего не нужно было лично для себя — и никто кроме него, пишет Толстой, не смог бы так совершенно

исполнить цель, поставленную перед ним волею народа. «Источник этой необычайной силы прозрения в смысл совершающихся явлений лежал в том народном чувстве, которое он носил в себе во всей чистоте и силе его» [Т. 4. Ч. 4. Гл. V] (интересно, что в первых черновиках можно найти такую, например, фразу: «Разве не было тысяч офицеров, убитых во времена войн Александра, без сравнения более храбрых, честных и добрых, чем сластолюбивый, хитрый и неверный Кутузов?» [ПСС—90. Т. 13. С. 73]. Не случайно Исайя Берлин писал: «<...> шаг за шагом Толстой превращает хитрого, слабого, престарелого сластолюбца, продажного и склонного к сикофанству <то есть к клевете и доносительству. — Л.С.> придворного из ранних набросков, основанных на аутентичных источниках, в истинный символ русского народа, со всей его простотой и природной мудростью» [Берлин. С. 211—212]).

А.П. Скафтымов в статье 1959 года привёл множество толкований толстовского Кутузова, как бы иллюстрирующих противоречия между «плохим мыслителем и хорошим художником». Споря с подобными мнениями, автор пишет: Кутузов отличается «от всех других исторических деятелей, представленных в “Войне и мире”», «не тем, что они “действуют”, а он “бездействует”, а тем, что он действует иначе, чем они» [Скафтымов. С. 188]. Комментируя поведение Кутузова между Бородинским сражением и советом в Филях, как его излагает А.И. Михайловский-Данилевский, И.П. Липранди с возмущением замечает противоречивость приказаний главнокомандующего и отсутствие у него определённого плана действий. Для Липранди это показатель ущербности изложения, недостаток историографа; для Толстого — это неосознанное (и тем более ценное) признание величия Кутузова, действовавшего по обстоятельствам, а не по диспозициям, приказам и планам (особенно это заметно в сцене совета в Филях). Приведу замечание Клаузевица, вполне соответствующее точке зрения Толстого, ни разу не сославшегося на этого военного теоретика; упоминая о планах, присланных Кутузову из Петербурга (их привёз 7 сентября флигель-адъютант Чернышёв), Клаузевиц пишет: «<...> распоряжения для четырех армий были со-

ставлены чересчур подробно, что являлось непрактичным и свидетельствовало о недостатке военного опыта. Результаты ясно это доказали, так как ни одна из этих диспозиций не могла быть выполнена. Знаменательно и характерно для порядков русского управления: силы, которые должны были сосредоточиться в Риге и у Витгенштейна, не имели и половины той численности, которая учитывалась в Петербурге. В результате, когда теперь читаешь петербургские диспозиции и сопоставляешь их с тем, что произошло в действительности и могло иметь место, то они производят отчасти комическое впечатление» [С. 111¹³]. Правда, Клаузевиц считает, что Кутузов опасался «понести вновь сильное поражение от Наполеона», но при этом признаёт: «<...> французская армия перестала существовать, а вся кампания завершилась полным успехом русских за исключением того, что им не удалось взять в плен самого Наполеона и его ближайших сотрудников. Неужели же в этом не было ни малейшей заслуги русской армии? Такое суждение было бы крайне несправедливо»; то, что русские смогли «преследовать бегущего неприятеля на расстоянии 120 миль в течение 50 дней представляет собой, пожалуй, нечто беспримерное» — «такое напряжение делает великую честь князю Кутузову» [С. 124]. И далее в книге Клаузевица сказано: «Кутузов решил не вводить в бой с противником своих главных сил, а преследовать его неустанно крупными и мелкими отрядами, беспокоить и утомлять его: ему казалось, что этого будет достаточно, чтобы окончательно его погубить. Большинство полководцев на его месте, вероятно, рассуждало бы точно так же» [С. 125]. Как видит читатель, Толстой здесь вполне согласен с Клаузевицем — во всём, кроме последнего утверждения. Автор «Войны и мира» приписывает способность именно так устроить преследование французов исключительно Кутузову — и никому больше.

Б.М. Эйхенбаум в книге 1931 года [Лев Толстой. Книга вторая. Шестидесятые годы] очень подробно, убедительно и интересно говорит о князе Сергее Семёновиче Урусове

¹³ Л.М. Мышковская [С. 187—188] и Н.Н. Гусев [Гусев—1957. С. 754—755] считают, что Толстой читал Клаузевица.

и о его отношениях с Толстым в 1860-е годы. Они познакомились ещё в Севастополе — Урусов «славился своей храбростью и своими чудачествами» [*Эйхенбаум—1931. С. 343*]; в письме к «шведским поборникам мира» (1899) Толстой сообщает об одном из подобных чудачеств: «Я помню, во время осады Севастополя я сидел у адъютанта Сакена, когда в приёмную вошел князь С.С. Урусов, очень храбрый офицер, большой чудак и вместе с тем один из лучших европейских шахматных игроков того времени. Он сказал, что имеет дело до генерала. Через десять минут Урусов прошёл мимо нас с недовольным лицом. Провожавший его адъютант вернулся к нам и, смеясь, рассказал, по какому делу Урусов приходил к Сакену. Он приходил затем, чтобы предложить вызов англичанам сыграть партию в шахматы на передовую траншею перед 5-м бастионом, несколько раз переходившую из рук в руки и стоившую уже нескольких сот жизней».

В 1866 году С.С. Урусов издал «Очерки восточной войны»; к этому времени переписка его с Толстым и беседы их во время приездов писателя в Москву особенно важны. После выхода IV тома «Войны и мира» Урусов выпустил книгу «Обзор кампаний 1812 и 1813 годов, военно-математические задачи и о железных дорогах» [М., 1868], где много ссылок на «Войну и мир» и цитат из неё. Это вовсе не значит, что Толстой и Урусов были во всём согласны; но в понимании роли Кутузова мнения Толстого и Урусова не просто совпадали — это был «результат совместной работы над военно-историческими вопросами» [*Эйхенбаум—1931. С. 360*]. «Философский язык Толстого и Урусова, насыщенный математическими и физическими терминами, очень характерен. Все эти параллелограммы сил, квадраты расстояний, алгебраические уравнения и т.д. — вся эта “урусовщина” использована Толстым против разночинцев — “реалистов” с их дарвинизмом и с их стремлением сделать историю отделом естествознания» [*Там же. С. 358*].

Ещё до того как в VI томе Толстой станет защищать Кутузова от историков, недооценивших и не понявших полководца, Урусов писал: «Если бы только в войнах с турками снискал себе славу до того времени кн. Кутузов, то и тогда выбор комитета пал бы на него, потому что

в тогдашних критических обстоятельствах не военный гений нужен был нам, а великий ум; но этим именно даром обладал Кутузов, и вся Россия это знала» [Урусов. С. 22]. Именно Урусов был ближе всего к толстовскому пониманию роли Кутузова в последний период Отечественной войны, когда французы начали отступать: «Совершенно очевидно, что не привёл бы он <Кутузов. — Л.С.> и десяти тысяч <в Вильну. — Л.С.>, если бы вовлекался в сражения или вёл бы армию быстрее с праздною целью захватить Наполеона с остатками его армии в одно сражение» [Там же. С. 46]. О «загадочной личности Наполеона» Урусов пишет тоже почти по-толстовски: «Из мемуаров этого человека трудно усмотреть что-либо выше самой обыкновенной посредственности; много в них хвастовства и самоуверенности. Из деяний его остался деспотизм и дикая конституция, пригодная только народам необразованным. Высокомерие, дерзость и бесчеловечность соединялись в нём с неправдивостью. Но как предводитель армий это был более чем гений: он был чародей. Кутузов как светлый ум давно оценил Наполеона как полководца; он избегал не армий Наполеона, а его самого, то есть того чародея, который неизвестно какую силу делал из людей то, что хотел» [Там же. С. 23]. «Как только поселилась в народе уверенность, что воевода не разобьёт, а только “проведёт” неприятеля, — пишет Урусов, — то не могло удивить никого и оставление Москвы» [Там же. С. 24].

Как пишет Б.М. Эйхенбаум, «эта характеристика усвоена Толстым и положена в основу главы, специально посвящённой Кутузову» — вплоть до прямых цитат; Урусов пишет: «Сидя в кабинете и глядя на карту, кажется непонятным, как мог Наполеон вырваться из западни, в которую попал; казалось бы, что Кутузову следовало ударить от Орши <...> Но всё это прекрасно в кабинете и на карте; на деле же всё выходит иначе» [Там же. С. 45—46]. Ср. у Толстого: «Для тех людей, которые привыкли думать, что планы войн и сражений составляются полководцами таким же образом, как каждый из нас, сидя в своем кабинете над картой, делает соображения о том, как и как бы он распорядился в таком-то и таком-то сражении, представляются вопросы <...> Деятельность пол-

ководца не имеет ни малейшего подобия с тою деятельностью, которую мы воображаем себе, сидя свободно в кабинете, разбирая какую-нибудь кампанию на карте <...>» [Т. 3. Ч. 3. Гл. II (это начало пятого тома по первому изданию)]. Приведём здесь и рассуждение *Клаузевица*: возражая одному из критиков Баркляя, который видел в его деятельности нарушение какого-то военного принципа, немецкий автор писал: «<...> придерживаясь подобных принципов, конечно, вполне естественно всесторонне критиковать имевшие место явления и находить, что всё чрезвычайно легко и просто делается, между тем как в действительности всевозможные препятствия ограничивают очень тесными рамками возможности выполнения» [С. 74].

Толстой вовсе не отрицает роли личности в истории — он лишь отвергает претензии отдельного человека изменить общий ход событий. Самодовольный Наполеон, играющий роль великого человека, сравнивается с ребёнком, который, держась за тесёмочки, привязанные внутри кареты, воображает, что он правит. В книге Сегюра, знакомой Толстому, о Наполеоне сказано: «Уже в ночь, предшествовавшую великой битве, все заметили, что его снедала лихорадка, которая подавляла его дух и истощала его силы во время битвы; это страдание, присоединившееся к другому, ещё более сильному, задерживало его движения и сковало его гений в течение пяти последующих дней. Оно-то и спасло Кутузова от полного поражения при Бородине и дало ему время собрать остатки своей армии и ускользнуть от нашего преследования» [Сегюр. С. 142]. На подобные рассуждения «многих историков» и ссылается Толстой, когда пишет: «Ежели от воли Наполеона зависело дать или не дать Бородинское сражение и от его воли зависело сделать такое или другое распоряжение, то очевидно, что насморк, имевший влияние на проявление его воли, мог быть причиной спасения России и что поэтому тот камердинер, который забыл подать Наполеону 24-го числа непромокаемые сапоги, был спасителем России» [Т. 3. Ч. 2. Гл. XXVIII]. Как видим, Толстой не сильно утрирует источник, с которым спорит.

На протяжении третьего и четвертого томов Толстой не уставая говорит, что от Наполеона ничего не зави-

село¹⁴. За что же его осуждать в таком случае? За то, что он отрёкся от «правды и добра и всего человеческого» [Т. 3. Ч. 2. Гл. XXXVIII], находя удовольствие в том, чтобы объезжать поле сражения и считать трупы противников; за то, что он может сказать: «Вот прекрасная смерть!» [Т. 1. Ч. 3. Гл. XIX]; за его актёрство, фальшь, эгоизм. Существенно, что даже Наполеону, воплотившему в книге полюс войны и разъединения, Толстой не отказывает в возможности прозрения: на поле Бородина «личное человеческое чувство на короткое мгновение взяло верх над тем искусственным призраком жизни, которому он служил так долго» [Т. 3. Ч. 2. Гл. XXXVIII], как не отказывает он в этой возможности ни князю Василию, ни Долохову. И у каждого из них это короткое прозрение наступает перед лицом смерти — чужой или своей.

Первые же читатели «Войны и мира» упрекали Толстого за искажение исторической правды в его книге. «Отчего бы не отдать славу р<усского> н<арода> и Растопчину, и принцу Вирт<ембергскому>? <...> Отвечая на это, я должен повторить truизм, что я старался писать историю народа. И потому Растопчин, говорящий: “Я сожгу Москву”, как и Наполеон: “Я накажу свои народы” — не может никак быть великим человеком, если народ есть не толпа баранов <...> Искусство <...> имеет законы. И если я художник, и если Кутузов изображён мной хорошо, то это не потому, что мне так захотелось (я тут не при чём), а потому что фигура эта имеет условия художественные, а другие нет» [ЛСС—90. Т. 15. С. 241—242].

Смысл этого автокомментария понятен; следует добавить только, что для художника исторические факты и лица — такой же материал, как и все прочие явления действительности. И как всякий материал, исторические факты преломляются сознанием художника, а вовсе не отражаются зеркально. Как хорошо сказал В.И. Камянов об исторических персонажах «Войны и мира»: «Толстой мыслит не столько о них, сколько ими» [Камянов. С. 192].

Г.А. Лесскис отчётливо выразил парадокс «Войны и мира»: историческая концепция Толстого «антиисторич-

¹⁴ Ср.: «Война зависела от него, и он мог по воле начать её или не начинать» [Тьер—1856. С. 248].

на в прямом и грубом смысле слова: Толстой попросту отрицает историческое развитие, то есть необратимые изменения во времени в жизни человечества»; исследователь цитирует записную книжку Толстого (19 марта 1870 г.): «То, в чём мы представляемся себе ушедшими вперёд прошлых поколений, не есть существенное жизни; напротив, в чём мы всегда одинаковы, есть сущность жизни» [*ЛСС—90*. Т. 48. С. 121]. Но ещё убедительнее связь историософии Толстого с жанром «Войны и мира»: «Для эпоса существенна не история, а космогония, модель всего универсума, в которую вписана и та историческая картинка, которая является непосредственным предметом песнопения (гнев Ахиллеса, осада Трои, скитания Одиссея, столкновение народов Запада с народами Востока)» [*Лесскис*. С. 446—447].

Исторические описания не выдерживают проверки здравым смыслом: описывая Аустерлицкое поражение, Толстой замечает (в черновой рукописи), что, по мнению военных историков, всё произошло оттого, «что колонны Буксгевдена зашли в пруды и болота»; «но я никак не могу понять, — пишет Толстой, — отчего в болотах одни биты, а другие бьют, ибо для того, чтобы бить в болотах, надо самому быть в болотах <...>» [*ЛСС—90*. Т. 13. С. 145].

По мнению Толстого, историки не только пишут неправду — они пишут не о том. Рассказывая об отступлении французов и о том, как оно описано у Михайловского-Данилевского и у Богдановича, Толстой утверждает: «Странное, непонятное теперь противоречие факта с описанием истории происходит только оттого, что историки, писавшие об этом событии, писали историю прекрасных чувств и слов разных генералов, а не историю событий.

Для них кажутся очень занимательны слова Милорадовича, награды, которые получил тот и этот генерал, и их предположения; а вопрос о тех пятидесяти тысячах, которые остались по госпиталям и могилам, даже не интересует их, потому что не подлежит их изучению» [Т. 4. Ч. 3. Гл. XIX]¹⁵.

¹⁵ Ср.: «Я полагаю, что <...> мне удалось открыть и выразить <...> истину самих событий, которая отыскивается только в государственных документах и особенно в переписке могущественных особ» [*Тьер=1856*. С. 245].

Толстой высказывает простую, кажется, и бесспорную мысль, всерьёз опровергающую традиционные поиски причин в историческом событии. Он пишет о фланговом марше русской армии с Рязанской на Калужскую дорогу — как известно, этот манёвр признан спасительным для русских: «Этот фланговый марш не только не мог бы принести какие-нибудь выгоды, но мог бы погубить русскую армию, ежели бы при том не было совпадения других условий. Что бы было, если бы не сгорела Москва? Если бы Мюрат не потерял из виду русских? Если бы Наполеон не находился в бездействии? Если бы под Красной Пахрой русская армия, по совету Бенигсена и Барклая, дала бы сражение? Что бы было, если бы французы атаковали русских, когда они шли за Пахрой? Что бы было, если бы впоследствии Наполеон, подойдя к Тарутину, атаковал бы русских хотя бы с одной десятой долей той энергии, с которой он атаковал в Смоленске? Что бы было, если бы французы пошли на Петербург?.. При всех этих предположениях спасительность флангового марша могла перейти в пагубность» [Т. 4. Ч. 2. Гл. I]. Таким образом, по Толстому, мы подвёрстываем случившееся под своё понимание: когда событие уже совершилось, мы видим только те факты, которые этому событию соответствуют, и не видим тех обстоятельств, которые присутствовали в это время и в этом месте, но с событием не совпадают.

Обнаруживать противоречия «между художественными и мыслительными способностями» Толстого начали уже первые критики «Войны и мира» — им хорошо ответил сам писатель (в дневниковой записи 2 февраля 1870 г.): «Я слышу критиков: “Катанье на святках, атака Багратиона, охота, обед, пляска — это хорошо; но его историческая теория, философия — плохо, ни вкуса, ни радости”. Один повар готовил обед. Нечистоты, кости, кровь он бросал и выливал на двор. Собаки стояли у двери кухни и бросались на то, что бросал повар. Когда он убил курицу, телёнка и выбросил кровь и кишки, когда он бросил кости, собаки были довольны и говорили: он хорошо готовил обед. Он хороший повар. Но когда повар стал чистить яйца, каштаны, артишоки и выбрасывать скорлупу на двор, собаки бросились, понюхали и отвернули носы

и сказали: прежде он хорошо готовил обед, а теперь испортился, он дурной повар. Но повар продолжал готовить обед, и обед съели те, для которых он был приготовлен» [ЛСС—90. Т. 48. С. 343].

Тогда же появились и противники этой достаточно примитивной концепции «противоречия между художником и мыслителем»; так, Н. Соловьёв считал, что художественное мирозерцание писателя находится «в полнейшем согласии с его изображениями жизни» [«Война и мир» (по поводу романа гр. Л.Н. Толстого) // «Северная пчела». 1869. № 12 (23 марта). Отдел «Критика». С. 3; подп. Н. С-в]. Основная идея Толстого, как её понимает критик, — «в низведении войны на степень явлений случайных, хаотических, а потому и не могущих считаться неизбежностью в историческом движении». В более позднем варианте статьи претензий к Толстому больше, но оценка «Войны и мира» по-прежнему высока: «Жизнь гр. Л.Н. Толстой до того любит, что у него с одинаковою прелестью и поэзиею нарисованы и Наташа, торжествующая оттого, что ей удалось, наконец, запереть сундук во время сборов перед выездом из Москвы, и старик Кутузов, радостно плачущий при вести о бегстве Наполеона. Всё фальшивое, утрированное, являющееся в чертах и образах, искривлённых будто бы сильными страстями, что так прельщает посредственные таланты — всё это противно гр. Л.Н. Толстому» [Соловьёв. С. 191].

В защиту философии Толстого высказался и Страхов: «Философские рассуждения гр. Л.Н. Толстого сами по себе очень хороши; если бы он выступил с ними в отдельной книге, то его нельзя было бы не признать отличным мыслителем и книга его была бы одною из тех немногих книг, которые заслуживают название философских. Но в соседстве с хроникой “Войны и мира”, наряду с её животрепещущими картинами эти рассуждения кажутся слабыми, мало занимательными, мало соответствующими величию и глубине предмета». Впрочем, проигрывают рассуждения автора лишь рядом с описаниями: «Мы не помним ни единого дельного замечания со стороны тех, кто весьма презрительно отзывался о философских взглядах гр. Л.Н. Толстого, и полагаем вообще, что авторы этих отзывов ещё далеко не доросли до своего подсу-

димого» [*Страхов* 2. С. 269]. Вторая часть Эпилога представляет, по мысли Страхова, «превосходные, но совершенно сухие рассуждения после живых лиц и картин хроники. <...> Читатель <...> всё ждёт, что автор приложит свои общие соображения к главному своему предмету, к борьбе России с Европой. Но автор как будто вовсе забыл о том, что составляет весь интерес его произведения» [*Там же*. С. 274].

И всё же «Война и мир» для Страхова — величайшая вершина: «Главная вина непонимания и недоумения заключается в той страшной высоте, на которую поднялся гр. Л.Н. Толстой и которая недоступна для большинства. <...> Смысл истории, сила народов, таинство смерти, сущность любви, семейной жизни и т.п. — вот ведь предметы гр. Л.Н. Толстого. Разве все эти и подобные предметы — такие лёгкие вещи, что их может понимать первый попавшийся человек? Разве есть что-нибудь мудрёное в том, что для понимания их у многих и многих не хватает ни ширины ума, ни жизненного опыта?» [*Там же*. С. 262].

РАБОТА С ИСТОЧНИКАМИ

Мы пишем выдумки, роман, а не военную историю.

[*ПСС—90*. Т. 13. С. 146]

В статье «Несколько слов по поводу книги “Война и мир”» Толстой писал: «Везде, где в моём романе говорят и действуют исторические лица, я не выдумывал, а пользовался материалами, из которых у меня во время моей работы образовалась целая библиотека книг, заглавия которых я не нахожу надобности выписывать здесь, но на которые всегда могу сослаться». Уже А.Н. Витмер, приведя эту цитату, спрашивал: «Какие же это книги? Если Тьер и Михайловский-Данилевский “единственные памятники той эпохи” <цитата из той же статьи Толстого. — *Л.С.*> и если под этим следует, конечно, разуметь “исторические памятники”, то из каких же книг составлена библиотека автора?» [*Витмер*. С. 6—7]. Далее Витмер приводит целый список исторических сочинений на французском, немецком, английском и русском языках,

которые, по его мнению, служат «памятниками эпохи»¹⁶. Теперь мы знаем, что и толстовский список использованных материалов был немалым (см., например, *ПСС—90*. Т. 16. С. 141—145) — вопрос в том, как писатель воспользовался этими материалами.

Следует помнить, что Толстой вовсе не ставил перед собой задачу исчерпать все доступные к тому времени источники по истории Наполеоновских войн: неслучайно Шкловский счёл нужным заметить, что «в имении Дениса Давыдова было книг по истории Наполеона собрано до полутора тысяч томов» [*Шкловский—1928*. С. 30] — количество, не сопоставимое с наполеоновской библиотекой Толстого. Мемуаристы свидетельствуют, что писатель отказывался читать предлагаемые материалы — так, Бартенева писал в 1908 году: «Помогая графу Л.Н. Толстому в первом издании его “Войны и мира”, мы указывали ему неосновательность в изображении Кутузова (который якобы ничего не делал, читал романы и переваливался грузным старческим телом сбоку набок). Доставлены были графу для прочтения тогдашние письма Кутузова к Д.П. Троицкому, исполненные забот и попечений. Граф Толстой возразил: “В письмах все лгут”» [*РА*. 1908. № 4; оборот обложки. С. 2; библиографическое сообщение о выходе двух томов Переписки Пушкина под ред. В.И. Саитова]. Н.П. Петерсон, служивший в 1868—1869 годах в Чертковской библиотеке, собрал, по просьбе Толстого, «множество рассказов <...> газетных и других», о Верещагине, но писатель читать их не захотел, «потому что в сумасшедшем доме встретил какого-то старика — очевидца этого события, и тот рассказал ему, как это происходило» [*Петерсон*. С. 126]. Шкловский, сопоставив сцену расправы над Верещагиным с заведомо известными Толстому источниками, заключает: «Совершенно неясно, что же узнал Лев Николаевич от старика из сумасшедшего дома» [*Шкловский—1928*. С. 86].

¹⁶ По мнению Витмера, Тьер, Михайловский-Данилевский и Сегюр — «едва ли не наименее достойные веры из всех, описывавших войну 1812 года» [*Витмер*. С. 7] — нужно читать Ермолова, Бутурлина и Богдановича.

Интересны случаи, когда один источник становится материалом для описания нескольких персонажей. Вот Александр Самойлович Фигнер, начавший войну 1812 года штабс-капитаном. В бою при Лубине (отступая от Смоленска) Фигнер, «увидевши с горы, что французы погнали из кустарника стрелков наших и <...> могли взять завязшую пушку, съехал вниз, вооружённый саблею и пистолетом. Мужественным голосом Фигнер вмиг остановил и собрал человек пятнадцать бегущих солдат, с которыми притаился за кустарником. Когда французы толпою шли вперёд, повторяя беспрестанно “avance!”, “avance!” и приблизились к его засаде, он велел своим ударить залп, потом в штыки, а сам с обнажённою саблею и пистолетом бросился на офицера, который вёл толпу и которого он, схвативши за грудь, грозил убить. Этот сюрприз остановил авансёров; офицер спардонился, а шассёры <Chasseurs, легкая пехота (егеря) и кавалерия. — Л.С.> его показали затылки. Фигнер, таща за шиворот кавалера Почётного легиона, встретился с главнокомандующим, который, узнав о подвиге, тут же поздравил нашего героя капитаном. Мы весьма радовались этому случаю и поздравляли Фигнера, но он с того времени стал необыкновенно задумчив и рассеян, не хотел ничем заниматься в роте и все заботы о ней предоставил мне как старшему по нём офицеру» [*Радожницкий*. Ч. 1. С. 123]. Нетрудно увидеть в этом описании материал для изображения Николая Ростова в Островненском деле и после него, когда герой сделался «молчалив, задумчив и сосредоточен»; но такая подробность, как «дорога, обозначенная двойным рядом больших берёз», по мнению А.В. Гулина, взята Толстым у Сегюра [*Сегюр*. С. 39. *Гулин—2004*. С. 192]. Атаку эскадрона Ростова Гулин соотносит с эпизодом из статьи Д.В. Давыдова «Урок сорванцу»: «Я задумал ударить с передовой цепью на неприятеля, опрокинуть его и тем увлечь за собою 5-й егерский полк <...> Увлёкшись этим, я спросил урядника: “А что, брат, если б ударить?” “Для чего же нет, ваше благородие”, — отвечал он и, указывая на фланкёров, которые вертелись у нас под носом, прибавил: “Их здесь немного; с ними можно справиться; давеча мы были далеко от пехоты, а теперь близко: есть кому поддерживать”» [*Давыдов*. Ч. II. С. 189; *Гулин—2004*. С. 188—189].

Сходные эпизоды исследователь находит и в книге Радожицкого и в «Записках кавалерист-девицы» Н. Дуровой [Гулин—2004. С. 188]. Вспомним внешность французского офицера: «Лицо его, бледное и забрызганное грязью, белокурое, молодое, с дырочкой на подбородке и светлыми голубыми глазами». Как показала Н.И. Бурнашёва, эта деталь («дырочка на подбородке») в черновиках «Отрочества» входит в портрет St.-Jérôme, губернёра Николеньки Иртеньева и, по-видимому, отражает реальную черту внешности Проспера Сен-Тома, губернёра маленьких братьев Толстых [См.: Бурнашёва. С. 143—162].

Как известно, Фигнер был одним из прототипов Долохова. Вот что пишет Давыдов в «Дневнике партизанских действий»: «Я давно слышал о варварских поступках Фигнера, но не мог верить, чтобы жестокосердие его доходило до убийства врагов обезоруженных, особенно в такое время, когда обстоятельства наши стали видимо изменяться к лучшему. Казалось, никакое злобное чувство, ещё менее чувство мщения, не должно было иметь места в сердцах наших солдат, исполненных священной радостью! Едва узнал он о моих пленных, как поспешил ко мне с просьбой позволить растерзать их каким-то новым казакам, ещё, по его мнению, не *натравленным*. Не могу выразить того, что я почувствовал при этих словах; красивые черты лица и доброе, приятное выражение глаз Фигнера, казалось, говорили противное. Вспомнив его превосходные военные дарования, отважность, предприимчивость, деятельность, знание многих иностранных языков — все эти качества необыкновенного воина, я с сожалением сказал ему: “Не выводи меня, Александр Самойлович, из заблуждения, оставь мне думать, что героизм есть душа твоих славных подвигов, без него они — мёртвый капитал; я, как русский, желал бы, чтобы у нас было бы побольше сильных, но великодушных воинов”. На это он мне отвечал: “Разве ты не расстреливаешь?” — “Да, — сказал я, — расстрелял двух изменников отечеству, из которых один был грабитель храма Божия”. — “Ведь ты расстреливал и пленных?” — сказал он. Я отвечал: “Никогда, вели хоть тайно расспросить о том моих казаков”. — “Ну, так походим вместе, — сказал он, — и ты, верно, бросишь эти предрассудки”. — “Если солдатская

честь и сострадание к несчастию суть предрассудки, — сказал я, — то я с ними умру»» [Давыдов. Ч. I. С. 76—77]. Но вот портрет Фигнера у *Раджицкого*: «У него на груди под мундиром всегда висел образ Св. Николая Чудотворца. Мундир он носил из толстого солдатского сукна, с Георгием в петлице <...> Голова на этот раз у него была нечёсана, борода небрита; он походил более на простого отчаянного солдата» [Т. I. С. 166—167]. Напомню портрет Долохова во времена его партизанской деятельности: «Долохов <...> теперь имел вид самого чопорного гвардейского офицера. Лицо его было чисто выбрито, одет он был в гвардейский ваточный сюртук с Георгием в петлице и в прямо надетой простой фуражке» [Т. 4. Ч. 3. Гл. VIII]. Из источника Толстой оставил только Георгия в петлице — все прочие черты отданы не Долохову, а Денисову.

Поездка Долохова с Петей к французам тоже, как известно, восходит к подвигам Фигнера. Об этом, среди прочих, пишет и *Раджицкий*: «<...> переодевшись французом, поляком или итальянцем, иногда с трубачом, а иногда один, ездил к неприятельским форпостам: тут он делал выговор пикетному караулу за оплошность и невнимательность, давая знать, что в стороне есть партия казаков; в другом месте извещал, что русские занимают такую-то деревню, а потому для фуражирования лучше идти в противную сторону. Таким образом, высмотревши положение, силу неприятелей и расположив их по своим мыслям, он с наступлением вечера принимал настоящий вид партизана и с удалцами своими являлся как снег на голову там, где его вовсе не ожидали и где французы, по его уверению, почитали себя в совершенной безопасности. Таким способом отважный Фигнер почти ежедневно присылал в лагерь главной квартиры по 200 и 300 пленных, так что стали уже затрудняться там в их помещении и советовали ему истреблять злодеев на месте» [Т. I. С. 210]. Заметим, что Фигнер у *Раджицкого* отправляет пленных в главную квартиру, а в «Дневнике...» Давыдова убивает на месте. Толстому понадобился вариант Давыдова, а не *Раджицкого*. Кстати, *Давыдов* [Ч. I. С. 82] упоминает слова Фигнера «filez», «filez» («пошёл! пошёл!»), доставшиеся Долохову [Т. 4. Ч. 3. Гл. XV].

Источники трансформируются — у меня нет возможности показать в полной мере, как и с какой целью это сделано Толстым, но два примера (один уже приводили в комментариях и исследованиях прошлых лет) стоит предьявить. *Рязанцев* [С. 74—75] описывает спасение русской девочки во время пребывания французов в Москве: «Мать моя <...> увидела под растущей берёзой сидевшую на траве лет трёх девочку, <...> нежностью и красотой уподоблявшуюся херувиму: голубые глаза, обрисованные тонкими, чёрными, бархатными бровями, блистали, как звёзды, от колеблющегося пламени; <...> чёрные как смоль волосы, <...> одеяние её состояло из розового атласного капотца; сидела она на голубом из шёлковой материи одеяльце, обшитом широкими кружевами»; «обвив крепко шею спасительницы, целуя её щёки, повторяла “мама! мама?”». Легко увидеть в этой сцене материал для эпизода спасения девочки Пьером, оставшимся в Москве, чтобы убить Наполеона. Но у Толстого девочка «золотушно-болезненная», «неприятная на вид»; она визжит «отчаянно-злым голосом» и кусает спасителя «сопливым ртом» — неслучайно героя охватывает «чувство ужаса и гадливости». Писатель последовательно разрушает литературную условность — в том числе и умилительную красоту в изображении жизни — даже К. Леонтьева, очень пронизательного критика, раздражали и беззубый рот Пьера (в Эпilogе) и то, что ребёнок марает ему руки: «это ничуть не нужно, и ничего не доказывает. Это грязь для грязи, “искусство для искусства”, натурализм сам для себя» [*Леонтьев*. (II). С. 219]. Тем более раздражались читатели менее изошрённые, вроде Н.И. Орфеева, отметившего в письме к П.И. Бартеневу от 31 января 1868 г. «нехудожественные выражения, вроде следующих: “Сморкается в угле в пёстрый платок, жуёт сочным ртом, глотает слюну, обнимает дурно-пахучим ртом”. — Эта наклонность смаковать неблагоприятные стороны человеческого естества одинаково неприятна в художнике слова и в художнике кисти, когда он с любовью и старанием выписывает на портрете все прыщи, бородавки, следы золотухи и прочих грехов оригинала. — Требуется ли этого истина и истинное художество? Не думаю» [*Летописи—1938*. С. 260]. При этом то, что не позволялось гос-

подствующим вкусом в художественном тексте, могло без оговорок встретиться в мемуарном — так, Норов, не принявший «Войны и мира», вспоминал такие, например, подробности ранения одного из егерей в Бородинской битве: «С ужасом увидел я, что у него сорвано всё лицо и лобовая кость и он в конвульсиях хватался за головной мозг. “Не прикажете ли приколоть?” — сказал мне стоявший возле меня бомбардир. “Вынесите его в кустарник, ребята”, — ответил я» [Норов. С. 34].

Второй пример ещё интереснее. В первой части Эпилога, как помнит читатель, в разговоре Пьера с Николаем участвует Денисов. Он говорит в ответ на упоминание Пьером тугендбунда: «<...> только тугендбунд я не понимаю, а не нг’авится — так бунт, вот это так!». Д. Давыдов в «Анекдотах о разных лицах...» вспоминает, что его двоюродный брат В.Л. Давыдов оставил ему записку, «которую приглашал меня вступить в Tugendbund, на что я тут же приписал: “Что ты мне толкуешь о немецком бунте? Укажи мне на русский бунт, и я пойду его усмирять”» [Записки Дениса Васильевича Давыдова в России цензурою непропущенные. Londres-Bruxelles. 1863. С. 42]. Как видим, источник радикально переименован — если поэт-партизан, вполне в духе Николая Ростова, готов был усмирять русский бунт, то Василий Денисов, как и Пьер, но решительнее его, готов бунтовать. Вот вам и ещё одно различие между Василием Денисовым и его прототипом, Денисом Давыдовым.

Мы, читатели XXI века, уже слабо чувствуем стилистическое новаторство Толстого — то, что остро ощущали современники. Толстой явно отвергает устойчивые приёмы предшествующей военной прозы, в том числе и исторической — так, в черновой рукописи он пародирует «поэтическое» описание Аустерлицкого сражения: «Едва яркое солнце, знаменитое солнце Аустерлица, поднялось над Моравскими горами, как великая битва трёх императоров закипела на долинах Моравии. Гул сотен орудий загремел над окрестностями, и храбрая стена русского неподражаемого воинства грудью (неприменно грудью, хотя я решительно не понимаю, какое дело груди на войне. Голова, руки и ноги я понимаю, но грудь, как и другие части тела, остаются совершенно излишними на вой-

не), итак, грудью двинулось воинство на врага. Едва туман рассеялся, как тысячи храбрых полетели на неприятеля. Вот ближе, ближе уже враг, и настаёт минута торжества, но ряды редеют и трупы храбрых устилают (непреренно устилают) достопамятное Аустерлицкое поле. Храбрый Дохтуров, как лев, летает от одного полка к другому, и наконец усилия его увенчаны. Русские знамёна развеваются над Тельницею. (О том, что русских двадцать тысяч против восьми, о том не говорится, так же как и о том, что ни Тельница, ни Сокольница совсем не нужно для славы и счастья русских.) Но вот бой загорается в центре, доселе непобедимые когорты Бонапарта, как неудержимые волны, несутся навстречу русским <...>» — прервём цитату. Толстой заканчивает период словами: «вопрос, почему так постыдно разбито русское войско, вопрос этот не получает ответа» [*ПСС—90*. Т. 13. С. 145—146].

Похожую стилистику можно обнаружить в книге Михайловского-Данилевского — вот как он описывает пришествие Кутузова в Царёво-Займище: «На ясном небе взвился огромный орёл и парил над Кутузовым: куда он, туда и орёл. Князь снял свою белую фуражку, приветствовал царя пернатых, как вестника успехов, и провозгласил “Ура!”». Полки повторили восклицание <...> Орёл продолжал плавать; семидесятилетний вождь, принимая доброе предвестие, стоял с обнажённою головою. Это была картина единственная!» [*Данилевский—1839*. Ч. II. С. 201]. Последние две фразы заимствованы у Ф. Глинки — из «Очерков Бородинского сражения» (правда, у него парящий орёл появляется перед сражением: «Главнокомандующий, окружённый штабом, встретил икону и поклонился ей до земли. Когда кончилось молебствие, несколько голов поднялись кверху и послышалось: “Орёл парит!” Главнокомандующий взглянул вверх, увидел плавающего в воздухе орла и тотчас обнажил свою седую голову. Ближайшие к нему закричали: “ура!” — и этот крик повторился всем войском». [*Ф. Глинка* Ч. I. С. 39 (Глава «Канун Бородинина»]). Этот же эпизод есть у Жуковского в «Певце во стане русских воинов»: «О диво! се орёл пронзил // Над ним небес равнины... // Могущий вождь главу склонил; // Ура! кричат дружины». Как пишет Н.С. Манаев,

на гравюре с картины Ив. Терebeneва Кутузов был изображён с парящим над ним орлом [*Манаев—1970. С. 5—6*]. Трудно представить этот эпизод в книге Толстого; впрочем, Радожицкий писал: «Говорили, что в начале сражения над головою князя Кутузова носился орёл, и князь, снявши шляпу, будто приветствовал его как предвестника победы; но многие сомневались, чтобы главнокомандующий стал заниматься орлом в то время, когда все мысли и внимание его были устремлены на действие боя» [*Радожицкий. Ч. I. С. 158*].

С.А. Соболевский, известный библиограф и библиофил, приятель Пушкина, писал Бартеневу (очевидно, в начале 1868 года): «Сообщите Толстому следующее: Мы все слышали от К. Сухтелена анекдот его после Аустерлицкого сражения иначе, чем у него.

Когда Наполеон сказал про Сух<телена>, что он больно молод, Сухтелен ответил двумя стихами из трагедии “Сид” (de Pierre Corneille): “Je suis jeune, il est vrai; mais aux âmes bien nées. La valeur n’attend point le nombre des années”. [Я молод, это правда; но в душах благородных достоинство не ожидает числа лет.]

Это особенно понравилось Наполеону, потому что в молодом варваре означало короткое знакомство со старинною французскою литературою и потому что Наполеон особенно любил (из трагиков) Corneille’a, как известно из *Mémorial de S-te Hélène. Соболевский*» [*Летописи—1938. С. 259*]. Толстой многое менял от издания к изданию, но этот несколько театральный эпизод ему явно не понадобился.

Как писал Шкловский, «всякий писатель деформирует материал, включая в своё построение, и он выбирает материал не по принципу достоверности, а по принципу удобства материала» [*Шкловский—1928. С. 34—35*]. Это особенно заметно в том, как Толстой писал своего Барклая де Толли, опуская, игнорируя или деформируя материал источников.

Вспомним, что в третьем номере «Современника» за 1836 год Пушкин напечатал стихотворение «Полководец», посвящённое Барклаю де Толли; его портрет в галерее Зимнего дворца «влечёт всех больше»:

Он писан во весь рост. Чело, как череп голый,
Высоко лоснится, и, мнится, залегла
Там грусть великая. Кругом — густая мгла;
За ним — военный стан. Спокойный и угрюмый,
Он, кажется, глядит с презрительною думой.
Свою ли точно мысль художник обнажил,
Когда он таковым его изобразил,
Или невольное то было вдохновенье, —
Но Доу дал ему такое выраженье.

О вождь несчастливый! Суров был жребий твой:
Всё в жертву ты принёс земле тебе чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчанье шёл один ты с мыслию великой,
И, в имени твоём звук чуждый невзлюбя,
Своими криками преследуя тебя,
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою.
И тот, чей острый ум тебя и постигал,
В угоду им тебя лукаво порицал...
И долго, укреплён могущим убежденьем,
Ты был неколебим пред общим заблужденье;
И на полупути был должен наконец
Безмолвно уступить и лавровый венец,
И власть, и замысел, обдуманно глубоко, —
И в полковых рядах сокрыться одиноко.
Там, устарелый вождь! как ратник молодой,
Свинца весёлый свист слышавший впервой,
Бросался ты в огонь, ища желанной смерти, —
Вотще! —

Здесь не место, разумеется, разбирать пушкинское стихотворение, вызвавшее в своё время и возражения, и полемику, и «Объяснение» поэта — нам важно только то, что отношение Пушкина к Барклаю было полемически воспринято Толстым — вспомним, как князь Андрей говорит Пьеру перед Бородинским сражением: «Тем, что его оклеветали изменником, сделают только то, что потом, устыдившись своего ложного нареkania, из изменников сделают вдруг героем или гением, что ещё будет несправедливее. Он честный и очень аккуратный немец...» [Т. 3. Ч. 2. Гл. XXV]. «Героем или гением» Барклай выглядит именно в пушкинском стихотворении — так что князю Андрею несложно угадать, что будет через 24 года после Отечественной войны.

В «Войне и мире» все говорят о «немце» Барклае, хотя Толстой, конечно, знал написанное у Д.Н. Бантыш-Каменского: «Барклай де Толли произошёл от древней благородной шотландской фамилии, переселившейся в Лифляндию» [*Бантыш-Каменский*. Ч. 1. С. 88]. *Клаузевиц* писал: «Барклай не был иностранцем: сын лифляндского пастора, он и родился в Лифляндии; Барклай с ранней молодости служил в русской армии, и, следовательно, в нём ничего не было иностранного, кроме его фамилии и, правда, также акцента, так как по-русски он говорил плохо и всегда предпочитал немецкий язык русскому. В существовавших тогда условиях этого одного уже было достаточно, чтобы его считали иностранцем» [С. 66]; там же говорится и о Вольцогене: «Только подозрительность могла заставить людей без всякого разумного основания, из-за одной лишь фамилии, смотреть на офицера, являвшегося флигель-адъютантом императора и пользовавшегося его доверием, как на предателя. Это недоверие к иностранцам впервые пробудилось по отношению к Барклаю и Вольцогену; и оно мало-помалу более грубыми, необразованными элементами армии распространилось на всех прочих иностранцев, которых, как известно, всегда было очень много в русской армии» [С. 67]. Барклай в «Войне и мире» упоминается в связи с отступлением — между тем перед самым началом войны военный министр доносил царю, что «пора двигаться вперёд», то есть наступать [С. 97]. Липранди называет Барклая Фабием <т.е. Медлителем. — *Л.С.*> с похвалой: «этот истинный Фабий» прозрел, что сражаться с Наполеоном в Литве было невыгодно [*Липранди—1867*. С. 43]. «Когда Барклай, побуждаемый Ермоловым, решил отступить к Смоленску, чтобы спасти I армию, был оставлен граф Пален с 4000 человек прикрыть отступление. 15 июля на рассвете Наполеон повёл войска к Витебску, Пален отступил только в пятом часу пополудни; за это дело был произведён в генерал-лейтенанты» [*Богданович*. Т. I. С. 203—204]. Толстому это не понадобилось.

Смоленск на самом деле был оставлен по решению Барклая; генерального сражения, пишет *Раджицкий*, «невозможно было сделать, не подвергаясь великой опасности в случае неудачи» [Т. I. С. 109]. То же пишет *Бан-*

тыш-Каменский : Барклай «со слабыми силами не мог удержать стремительного нашествия Наполеона на Россию и, не без основательных причин <...> пожелтовал Смоленском» [Ч. 1. С. 107]. Толстому эти «основательные причины» хорошо известны, но не убеждают его. Вот что говорит князь Андрей Пьеру перед Бородинским сражением: «<...> и в Смоленске он тоже правильно рассудил, что французы могут обойти нас и что у них больше сил. Но он не мог понять того, — вдруг как бы вырвавшимся тонким голосом закричал князь Андрей, — но он не мог понять, что мы в первый раз дрались там за русскую землю, что в войсках был такой дух, какого никогда я не видал, что мы два дня сряду отбивали французов и что этот успех удесятаял наши силы. Он велел отступить, и все усилия и потери пропали даром» [Т. 3. Ч. 2. Гл. XXV]. При этом нужно твёрдо помнить, что как бы ни казались нам мысли князя Андрея близкими толстовским, это всё же мысли героя, персонажа, а не в прямую высказанные авторские суждения. А. Витмер, откликнувшийся на IV том «Войны и мира», писал: «В железной воле, в уме и в громадной услуге, оказанной Барклаем усыновившему его отечеству, отказать ему никто не имеет права; но князь Болконский, устами которого так часто говорит граф Толстой, едва удостоивает отозваться о Барклае как об “очень аккуратном немце”» [Витмер. С. 40].

После соединения под Смоленском 1-й и 2-й армий П.И. Багратион предоставил общее командование над соединенными армиями М.Б. Барклаю де Толли как военному министру. Факт взаимной неприязни двух командующих засвидетельствован многими источниками — несмотря на это, *Норов* возражает Толстому: «Мог ли Багратион с умыслом избегать присоединиться к Барклаю?» [С. 17], — и продолжает: «Как бы то ни было, после этого Багратион, только под Бородином, смертельно раненный, будучи свидетелем героических подвигов Барклая во время битвы, в то время как доктор Виллье перевязывал ему рану, увидев раненого Барклаева адъютанта Левенштерна, подозвал его к себе и поручил ему уверить Барклая в своем искреннем уважении» [С. 18].

Ф. Глинка в «Письмах русского офицера» записывает под 16 августа 1812 года: «<...> главнокомандующий армия-

ми, генерал Барклай де Толли, прошедший с такой осторожностью войска наши от Немана и доселе, что не дал отрезать у себя ни малейшего отряда, не потеряв почти ни одного орудия и ни одного обоза, сей благоразумный вождь, конечно, увенчает предначатия свои желанным успехом» [*Ф. Глинка* 2. Ч. IV. С. 44—45]; а брат его — цветисто, как и всегда — писал о Барклае: «Наш Фабий <...> на полях открытых и на праводушных раменах <т.е. плечах. — Л.С.> нёс жребий войны отступательной» [*Глинка*. С. 36]. Р. Вильсон (его записки пересказал Ю.В. Толстой) вспоминал, что в сражении 7 августа возле Валутиной горы (при отступлении из Смоленска) русские войска, «одолеваемые ядрами, картечью и пулями, на одно мгновение обратились было в бегство, чтобы скрыться за вершиной горы; но в эту минуту Барклай прискакал и со шпагой в руке остановил бегущих, крича им: “Победа или смерть! Нужно держаться или погибнуть!”». Его присутствие духа и пример воодушевили всех, вершина горы была вновь занята и, по милости Божией, армия была спасена!» [*РВ*. 1862. № 1. С. 139—140].

Было принято решение дать генеральное сражение при Царёве-Займище, но тут появился единый главнокомандующий — Кутузов (Барклай остался командующим 1-й Западной армией, как и был). Данилевский цитирует письмо Барклая де Толли к царю после назначения Кутузова: «Не намерен я теперь, когда настают решительные минуты, распространяться о действиях армии, которая была мне вверена. Успех докажет, мог ли я сделать что-либо лучшее для спасения государства. Если бы я руководим был слепым, безумным честолюбием, то, может быть, ваше императорское величество изволили бы получать донесения о сражениях и, невзирая на то, неприятель находился бы под стенами Москвы, не встретя достаточно сил, которые были бы в состоянии ему сопротивляться» [*Данилевский—1839*. Ч. II. С. 180]. «Тогда Барклай де Толли явил редкий пример самоотвержения: пренебрегая мелочными расчётами самолюбия и пламенно любя Отечество, он продолжал службу свою с прежним усердием и в славной Бородинской битве командовал центром и правым крылом нашей армии; среди ужасов и смерти удивлял всех своим хладнокровием, присутствием духа;

подкрепил князя Багратиона во время нападения на него маршалов Даву и Нея; атаковал левое крыло французов кавалериею, чтобы остановить усилия их, производимые на левый фланг наш <...>» [*Бантыш-Каменский*. Ч. 1. С. 108—109]. Как пишет *Данилевский*, во время Бородинского сражения «Барклай де Толли лично вёл войска. Он ехал впереди их в полном генеральском мундире и шляпе с чёрным пером» [*Данилевский—1839*. Ч. II. С. 264]. «Под ним убито и ранено пять лошадей», «в тот день вся армия примирилась с Барклаем де Толли»; «от каждого полка гремело ему “ура!”»; он же пишет, что Барклай в этот день «искал смерти» [*Там же*. С. 272—273]. О поведении командующего 1-й армией в Бородинском сражении *Давыдов* пишет: «Мужественный и хладнокровный до невероятия Барклай <...>» [Ч. 1. С. 10]. О «ледяном хладнокровии» Барклая пишет *Ф. Глинка* [Ч. II. С. 50], приводя общее мнение: «Он ищет смерти!». Ни слова нет ни у *Данилевского*, ни у *Богдановича* о том, что Барклай просил подкрепления во время Бородинского сражения; напротив, *Богданович* пишет, что Багратион просил помощи у Барклая и получил её — 2-й пехотный корпус, гвардейские полки Измайловский, Литовский, Финляндский [Т. II. С. 182—83; об этом же писал и Михайловский-Данилевский — Ч. II. С. 237]. И.П. Липранди сообщал, что «во время дела целые корпуса Первой армии были переведены поддерживать Вторую» [*Липранди—1867а*. С. 85 («Краткое обозрение эпизода Отечественной войны...»)]. Он же цитирует Богдановича, сообщавшего, что на следующий день после Бородинского сражения Барклай, получив приказание отступить, «хотел ехать к князю <Кутузову. — Л.С.> с просьбою об отмене отданного приказания [*Богданович*. Т. II. С. 221], но, получив сведение об выступлении Дохтурова, принуждён был с сокрушённым сердцем исполнить повеление главнокомандующего», — и оспаривает того же Богдановича: тот утверждает, что продолжать сражение на следующий день было нельзя, а Липранди пишет: «И если он <Барклай. — Л.С.>, будучи главным деятелем и зорким наблюдателем при Бородине, предвидел успех в предначертанном нападении на неприятеля», то его мнение важнее, чем мнение современного историка [*Липранди—1867*. С. XXIII].

Данилевский (напомню: адъютант Кутузова в Бородинском сражении) пишет: «Велико было прежде негодование против Барклая де Толли, но в Бородине общее мнение решительно склонилось на его сторону» [*Данилевский—1839*. Ч. II. С. 272—273]. И. Липранди в статье «Краткое обозрение эпизода Отечественной войны...» (напечатана в газете «Северная пчела». 1858. № 151, 152, 155), писал, что «подвиги Кутузова не были известны низшим чинам и представлялись как бы в исторических преданиях», а в Барклае «армия привыкла видеть своего главнокомандующего, разделявшего с нею все труды <...>»; «армия никогда не сомневалась в его мужестве. Она в этот день видела его своим главнокомандующим, как и прежде» [*Липранди—1867а*. С. 110]. Даже Урусов, вполне согласный с Толстым в высокой оценке Кутузова, писал, что «Барклай всегда и везде вёл себя как подобает великому военачальнику» [*Урусов*. С. 20].

Особенно красноречив Жозеф де Местр, чьи письма внимательно читал (и использовал) Толстой: «Когда российский император уезжал из Дриссы от армии, <...> он сказал генералу Барклаю де Толли: “Генерал, помните, у меня нет другой армии”. Что можно было сделать после такового наставления? Чем рисковать? <...> Барклай оставил Смоленск. Сие вовсе не означает, что у него не было желания дать сражение, но, поколебавшись какое-то время, он сказал: “Нет, я не могу ставить на эту карту”. Был назначен Кутузов; «Барклай передал ему армию, как раз когда она получила подкрепления и приготавливалась всеми возможными способами к безуспешной Бородинской бойне. <...> Всеобщее мнение посчитало Барклая истинным главнокомандующим в сем деле, что было непереносимо для фельдмаршала, и он своими укорами выжил его из армии. <...> Никак нельзя простить ему заключительных слов его реляции императору: “И всё-таки, Государь, оставление Москвы было неизбежным следствием сдачи Смоленска”. Какая низость! Какой позор! Ежели называть вещи истинными их именами, мало отыщется низостей, подобных сему публичному упреку за уничтожение Москвы генералу Барклаю, не природному русскому и не имеющему себе защитников. Оставление Смоленска столь же повлияло

на сдачу Москвы, как и переход французов через Неман» [*Де Местр*. С. 237—238; письмо королю Виктору-Эммануилу I от 2 (14) июня 1813 г.].

Толстой, повторю, явно знал это, но в черновой рукописи он писал о победе под Бородином, что (наряду с другими предлагавшимися причинами) «не мужество и распорядительность Баркляя де Толли, обиженного и искавшего смерти, как нам рассказывают <об этом как раз и писал Бантыш-Каменский. — *Л.С.*>, произвели это явление», а «неразумное сознание того, что мы хотим и потому должны победить»; «сознание это было <...> исключительно у *русских* <курсив Толстого. — *Л.С.*> людей, а не у людей других национальностей, в особенности немцев, бывших в русском войске» [*ЛСС—90*. Т. 14. С. 221]. Напомню читателю, что фразу «Генерал Барклай до Толли жертвовал жизнью своей везде впереди войска» произносит немец Берг (тот самый, что интересуется шифоньерочкой в момент отъезда Ростовых) [Т. 3. Ч. 3. Гл. XVI].

На совете в Филях Барклай де Толли «первый подал голос в пользу отступления без боя. “В занятой нами позиции нас наверное разобьют, и всё, что не достанется неприятелю на месте сражения, будет потеряно при отступлении через Москву. Горестно оставить столицу, но если мы не лишимся мужества и будем деятельны, то овладение Москвою приготовит гибель Наполеону”» [*Бантыш-Каменский*. Ч. 1. С. 110]. Почти ничего этого нет в «Войне и мире»: Барклай, «с бледным болезненным лицом и с своим высоким лбом, сливающимся с голой головой», сидит «на первом месте», «с Георгием на шее»; о нём автор сообщает, что «второй уже день он мучился лихорадкой, и в это самое время его знобило и ломало» [Т. 3. Ч. 3. Гл. IV]. Правда, далее упоминается «мнение Баркляя и других о невозможности принять оборонительное сражение под Филями», но решение оставить Москву принимает, как и должно быть, Кутузов. В черновиках роль Баркляя ещё более снижена — о нём сказано, что он одержим лихорадкой и видит всё поэтому в мрачном свете [*ЛСС—90*. Т. 14. С. 266].

Д.В. Давыдов в «Материалах для истории современных войн», известных Толстому, писал об «изумительном мужестве, невозмутимом хладнокровии и отличном знании

дела» Барклая [*Давыдов*. Ч. 2. С. 65]. Он заметил, что Барклаю мешало «незнание русского языка, необходимого для основательного изучения характера наших солдат и для того, чтобы привязать к себе войска». «Его преданность к государю и России была беспредельна. Но у него не доставало способности говорить с русскими солдатами; войска и народ считали его иностранцем, что в народной войне было несчастием для самого Барклая и препятствием для общей пользы» [*Богданович*. Т. I. С. 133]. Давыдов же писал о «сумрачном, постоянно угрюмом, хотя и скромном, бесстрашном, неутомимом и холодном, как мраморная статуя, Барклае» [*Давыдов*. Ч. 2. С. 65]; он же ясно написал, что мысль об оставлении Москвы была высказана на совете в Филях первым именно Барклаем; «Кутузов, объявивший, что неприятель вступит в Москву лишь через его труп, возрадовался предложению Барклая, избавлявшему его от необходимости предлагать меру, против которой он, по-видимому, так восставал и которая, по его мнению, была лишь последствием падения Смоленска» [*Там же*. С. 66]. Более того, *Ермолов* сообщает, что Барклай в его присутствии говорил Кутузову о необходимости оставить Москву: «Князь Кутузов, внимательно выслушав, не мог скрыть восхищения своего, что не ему присвоена будет мысль об отступлении, и желая сколько возможно отклонить от себя упреки, приказал к восьми часам вечера созвать гг. генералов на совет» [С. 210]. Ср. у *Бутурлина*: «Князь Кутузов, хотя и принял уже намерение оставить Москву, однако ж 1-го сентября ввечеру собрал в главной квартире своей, деревне Филях, военный совет, дабы показать вид, что решается на сию крайность не иначе как сходно с мнением главнейших генералов своих» [С. 296].

Толстой, по-видимому, читал и И.И. Лажечникова, который в очерке «Новобранец 1812 года» (первая публикация — журнал «Пантеон», 1853, № 7) описывает Барклая, уезжавшего из армии после оставления Москвы: «Его сопровождал только один адъютант. При этом имени почти всё, что было в деревне, составило тесный и многочисленный круг и обступило экипаж. Смутный ропот пробежал по толпе... Немудрено... Отступление к Москве расположило ещё более умы против него; кроме госу-

даря и некоторых избранников, никто не понимал тогда великого полководца, который с начала войны — до бородинской отчаянной схватки сберёг на плечах своих судьбу России, охваченную со всех сторон ещё неслыханную от века силою военного гения и столь же громадную вещественною силой. Но ропот тотчас замолк: его миглом сдержал величавый, спокойный, холодный взор полководца. Ни малейшая тень смущения или опасения не пробежала по лицу его. В этом взоре не было ни угрозы, ни гнева, ни укоризны, но в нём было то волшебное, не разгадываемое простыми смертными могущество, которым наделяет Провидение своего избранника и которому невольно покоряются толпы, будучи сами не в состоянии дать отчёта, чему они покоряются. Мне случилось после видеть, как этот холодный, спокойный, самоуверенный взгляд водил войска к победе, как он одушевлял их при отступлении (из-под Бауцена и окрестностей Парижа, когда мы в первый раз подходили к нему)» [*Лажечников*. С. 281—282].

Таким образом, мы видим, как тенденциозен Толстой в изображении Барклая (и, конечно, всех других так называемых «исторических лиц»). Прав современный историк: «При огромном <...> воздействии толстовской эпопеи на историческое сознание русского общества» несправедливые оценки этого лица «не могли не поддерживать живучести уничижительного отношения к Барклаю среди миллионов читателей романа — вплоть до наших дней» [*Тартаковский*. С. 10].

Известно, как уничижительно изображён в «Войне и мире» генерал Л.Л. Беннигсен; так, о Пултуском сражении мы читаем в ироническом письме Билибина, в то время как А.П. Ермолов писал, что это «победа совершенная». «Отразить превосходные силы под личным Наполеона предводительством есть подвиг великий, но преодолеть и обратить в бегство есть слава, которую доселе никто не стяжал из его противников» [*Ермолов*. С. 49—50].

Правоту Беннигсена накануне Бородинского сражения специально отмечает И.П. Липранди: если бы послушали совета Беннигсена и «оставили 6-й и 7-й корпуса на первоначальных местах, то битва была бы самая решительная в нашу пользу»; «всё, что предсказал Беннигсен,

буквально сбылось» [*Липранди—1867*. С. XIII]. Об этом писал и *Ермолов* — если бы послушали Беннигсена, «армия не подверглась бы ужасному раздроблению. Не так далеки были соображения Кутузова, — продолжает *Ермолов*, — и то доказали последствия» [С. 196]. На совете в Филях (нигде в источниках нет ни слова о «вкусном обеде» Беннигсена, из-за которого его пришлось ожидать), как пишет Липранди, «Беннигсен говорил в духе народа и армии. “Стыдно оставить столицу без выстрела. Если мы решимся выступить, никто не поверит, что Бородинское сражение нами выиграно”» [*Липранди—1867а*. С. 94]. И, заметим, вопрос Беннигсена иной, чем у Толстого (см. комментарий к сцене совета в Филях во второй части) — речь не о выпячивании патриотизма, а о целесообразности сражения или отступления (на стороне Беннигсена были Дохтуров, Уваров, Коновницын и Ермолов — о первом и третьем генерале Толстой пишет очень уважительно). Вражду между Кутузовым и Беннигсеном, по мнению *Ермолова*, «поселили» Толь и Коновницын, которым «надобно было полное на князя Кутузова влияние» [*Там же*. С. 225] (о Коновницеине Ермолов отзывается весьма недружелюбно — Толстой, как мы помним, видит в нём, как и Дохтурове, «одну из тех незаметных шестерён, которые, не треща и не шумя, составляют самую существенную часть машины» [Т. 4. Ч. 2. Гл. XVI]).

И Д. Давыдов, который, по замечанию Толстого, «первый дал тон правды» [*ПСС—90*. Т. 15. С. 240], писал о Беннигсене в «Материалах для истории современных войн»: «Генерал Беннигсен был известен блистательными кабинетными способностями, редким бескорыстием и вполне геройскою неустрашимостью»; Давыдов упоминает о падучей болезни, которой страдал Беннигсен «в самую критическую минуту губительного для нас Фридландского сражения»; «Беннигсен, которому — есть весьма основательные причины полагать — принадлежит мысль о знаменитом фланговом марше наших армий после отступления их из Москвы, был также весьма замечателен по своему ласковому без короткости обращению, благородству речей и степенности, свойственной лишь вождю вождей могущественной армии. Беннигсен, ненавидимый Кутузовым, с которым его окончательно рассорил Толь

в Тарутине, питал к нему столь же малое сочувствие; письма его в 1812 году к государю наполнены, к сожалению, недостойными против фельдмаршала выходками. Однако записки его об Отечественной войне, из коих он мне читал некоторые отрывки, замечательны по справедливости суждений и верному военному взгляду» [*Давыдов*. Ч. II. С. 56—57]. Для Урусова Беннигсен — «образец предводителя», который «действительно превосходил всех военачальников <так! — Л.С.>, что доказал он на деле» [*Урусов*. С. 29]; более того, «мы совершенно уверены, что он не только атаковал бы Наполеона под Москвой, но и разбил бы его» [*Там же*. С. 36—37] — кажется, это единственное свидетельство профессионального военного историка в пользу сражения под Москвой.

О Милорадовиче все пишут как о рыцаре, храбром воине и щедром человеке; Толстой, как мы помним, весьма скептически относится к этому генералу — и нам понятно, что эпизоды вроде описанного *Данилевским* — во время Бородинского сражения «Милорадович сказал: “Барклай хочет меня удивить!”, поехал ещё далее под перекрёстные выстрелы французских батарей и велел подать себе завтрак» [*Данилевский—1839*. Ч. II. С. 261], — никак не прибавляют в глазах автора «Войны и мира» значительности этому персонажу, любившему эффектные жесты и фразы.

Ещё более резко изображён в «Войне и мире» Ф.В. Ростопчин (в некоторых книгах и статьях он писался как у Толстого — *Растопчин*). Правда, сочувствующих ему современников было намного меньше, чем защитников Барклая — но И.И. Лажечников в мемуарном очерке «Новобранец 1812 года» писал: «Высокое и трудное бремя нёс тогда Ростопчин. Надо было в одно время поддерживать пламенное усердие к делу общему, ослаблять уныние, возбуждаемое вестями о скором нашествии неприятеля, и усмирять народные порывы. Редки, однако ж, были случаи вмешательства черни» [*Лажечников*. С. 268]. Ж. де Местр упрекал Кутузова в том, что тот до последней минуты обещал Ростопчину «всеми имеющимися силами защищать столицу», а вечером того же дня, когда это произнёс в очередной раз, «прислал записку об оставлении Москвы» [*Де Местр*. С. 230]. И даже адъютант фельдмаршала при-

знаёт: «князь Кутузов известил графа Ростопчина, что оставляет Москву, о чём до тех пор таил от него» [*Данилевский*—1839. Ч. II. С. 331—332].

Возражая Толстому, А.С. Норов вступается и за главнокомандующего Москвы: «можно ли не причесть к этой геройской фаланге знаменитое имя графа Ростопчина, которому, может быть, Москва воздвигнет памятник как своему крестному отцу — крещения огненного, из которого она вышла славнее, чем была?» [*Норов*. С. 45]. П. Вяземский, автор «Характеристических заметок и воспоминаний о графе Ростопчине» [*РА*. 1877. № 5], ещё в «Воспоминаниях о 1812 году» останавливается на «одной тёмной странице» жизни главнокомандующего Москвы — на смерти Верещагина. Не оправдывая Ростопчина, Вяземский никак не соглашается с тем, что поступок его вызван трусостью или чувством самосохранения: «в поступке Ростопчина ничего не было преднамеренного, обдуманного и тем более не было удовлетворения личных выгод» [*Вяземский*. С. 296]¹⁷.

В майской книжке *РА* (за тот же 1869 г.) А.Ф. Ростопчин, сын московского главнокомандующего, благодарил Вяземского за то, что тот вступился «за память осмеянных и оскорблённых отцов наших» — в частности, за память о Ф.В. Ростопчине, «характер которого так искажён у графа Толстого». М.Ф. Де-Пуле защищает автора «Войны и мира»: «Чем же, однако, искажён в “Войне и мире” характер Ростопчина московского? Не тем ли, что эта действительно крупная личность той эпохи представляется *маленькой* и вертлявой, не сходящей с ходуль, и что дремлющая фигура Кутузова её давит? Но ведь с фата-

¹⁷ В письме к П. Бартеневу (2 ноября 1868 г.) Вяземский писал: «В статье моей о 1812 году я два раза за него <Ростопчина. — Л.С.> вступаюсь и, кажется, довольно удачно. Впрочем, и то сказать: на земле мы не очень друг другу сочувствовали. Я любил слушать его рассказы, ценил его ум и вообще его своеобразность, столь у нас редкую. Но в нём было что-то дикое, татарское, которое, при всём его европейском просвещении, а не образовании, меня от него отталкивало. До 1812 года мы с ним были вообще в хороших отношениях, несмотря на большую разность лет, по дому Карамзиных, но в 1812 году я сердился на тон его афиш — хотя, может быть, и не справедливо, и Верещагинская история меня возмутила» [*РГАЛИ*. Ф. 46. Оп. 1. Ед. 153].

листической точки зрения автора перед грозным образом его судьбы и предопределения не один Ростопчин, но и все фигуры кажутся мелкими, и самые размеры величайших событий суживаются, пожалуй, до прозаической правды, что происходит вовсе не от камердинерского воззрения на господ, о чём намекает князь Вяземский в своей статье, не от нигилистических отношений к прошлому автора “Войны и мира”» [*Де-Пуле*. С. 330—331]¹⁸. «Правдивый художник», Толстой не мог сделать ничего другого; «может быть, покойные Загоскин и Кукольник сделали бы по желанию гр. А.Ф. Ростопчина, <...> но тёмного пятна верещагинского дела» уже не смыть с памяти Ф.В. Ростопчина¹⁹.

Толстовский Кутузов говорит Ростопчину, когда армия уже оставляет город: «Да, я не отдам Москвы, не дав сражения» [Т. 3. Ч. 3. Гл. XXV] (в источниках сообщается, что Кутузов не захотел говорить с главнокомандующим Москвы). Слова могут быть «бессмысленны» [*Там же*], но действия Кутузова, по Толстому, имеют высший и недоступный другим смысл — тем более недоступный Ростопчину, который «не понимал значения совершающегося события, а хотел только что-то сделать сам, удивить кого-то, что-то совершить патриотически-геройское и, как мальчик, резвился над величавым и неизбежным событием оставления и сожжения Москвы и старался своей маленькой рукой то поощрять, то задерживать течение громадного, уносившего его вместе с собой, народного потока» [*Там же*]. И если Толстой в статье «Несколько слов по поводу книги “Война и мир”» утверждает, что Ростопчин никогда не зажигал свой дом в Воронове, нужно иметь в виду, что он, скорее всего, читал в январском *PВ* 1862 года пересказ «Записок» Вильсона, где англичанин как очевидец рассказывает: «Ростопчин <...> вошёл в дом, пригласил друзей своих идти с ним. При входе каждому дали по зажжённому факелу <...> По мере

¹⁸ См. ниже раздел «Современники читают “Войну и мир”».

¹⁹ Де-Пуле не знал черновой записи, приведённой выше [С. 68—69] о том, что художник не может сделать ни из Ростопчина, ни из Наполеона ничего, кроме карикатуры. Переключка нечаянная, и оттого особенно важная!

того, как мы шли вперёд, мы зажигали каждую комнату, и в четверть часа всё здание пылало» [С. 157].

Здесь уместно процитировать Н.С. Лескова, откликнувшегося на выход пятого тома «Войны и мира»; предполагая, что этот том, как и предыдущий, «вызовет ряд опровержений, основываемых на текстах известных писателей», Лесков пишет: «Вперёд можно предрешить, что во всех возражениях, которые могут быть сделаны гр. Толстому по печатанным источникам, автор “Войны и мира” будет непременно опровергнут. Но есть источники иные, не печатанные и даже не писанные, но тем не менее достоверные: это семейные предания, которые живо сохранились ещё у многих из нас и которым мы не имеем никаких оснований не доверять. Они говорят нам, что гр. Толстой не ошибается в своих заключениях, что Россию действительно спасло не геройство полководцев, не планы мудрых правителей, а та органическая сила, которая была тверда в государе, фельдмаршале, солдатах, во всем народе. Одним словом, сила спасения заключалась в тех, кто, не рисуясь и не бравирюя, *делал свое дело* <...>» [Лесков. С. 308—309]. И поэтому «Ермолов и Раstopчин гр. Толстого (которые, конечно, вполне ответственны для автора) отныне останутся в представлениях общества не такими, какими их изображали режиссеры да надутые слухи, а такими, какими они легко и рельефно представляются каждому по художественным абрисам гр. Толстого» [Там же. С. 315].

Толстой предупреждает: ни современники, ни историки не оценили вполне роль Кутузова; действительно, писатель мог прочесть «Воспоминание о князе Смоленском М.И. Голенищеве-Кутузове» Н.П. Шишкова, который цитирует Александра I (в передаче Р.Т. Вильсона): «Я знаю, что фельдмаршал (Кутузов) ничего не сделал того, что бы быть должен сделать, ничего не предпринимал против неприятеля, что был обязан <...> Через полчаса я намерен украсить этого человека орденом св. Георгия I класса <...> я уступаю только необходимости. Отныне я не оставлю своей армии» [РА. 1866. Стб. 462—463]. Впрочем, далее мемуарист, опровергая Вильсона, утверждает, что «победы Кутузова в Турции, славный заключённый им мир и заслуги его в 1812 году совершенно отклонили не-

приязненное чувство Александра I» (император пожаловал Кутузову 6 декабря 1812 года титул князя Смоленского) [Стб. 466].

Р. Вильсон, как сообщает Ю.В. Толстой, пересказавший записки английского генерала в *PВ* [1862. № 1], отрицал в Кутузове «не только воинскую способность, но и личную храбрость и даже чувство преданности отечеству» [С. 134]. В Тарутинском сражении, по мнению Вильсона, «от Кутузова зависела судьба неприятеля, когда он остановил наступление и перешёл к робкой обороне, как бы намеренно спасая неприятеля от гибели» [С. 172]. Вильсон сообщал [С. 161], что Кутузов был готов заключить перемирие с Лористоном — его отговорили герцог Александр Виртембергский, принц Ольденбургский и князь П.М. Волконский. «Каждая капля русской крови, пролитая после сражения при Красном, каждая русская жизнь, потерянная впоследствии от суровости климата, каждый солдат, погибший от дальнейших трудов и лишений, каждый рубль, истраченный на продолжение брани, всё русское имущество, потом погибшее, всякий вред, нанесённый русскому жителю бежавшим неприятелем, — всё это отдельные пункты обвинения против Кутузова и всё это ручается за осуждение его потомством <...>» [*PВ*. 1862. № 1. С. 195]. Возражая этой инвективе, Ю. Толстой написал, что если бы не Кутузов, «победные русские знамёна не развевались бы в Париже» [*Там же*]. Он же, явно предвосхищая формулы Толстого, писал: «Пренебрегая славою выигранных баталий, шадя кровь своих солдат, Кутузов употреблял их только для разбития неприятельских отрядов на шайки мародёров, которые находили бесславленную смерть под пиками казаков, под пулями партизан, под топорами мужиков» [*Там же*. С. 173].

В журнале П.И. Бартенева Толстой мог прочесть письмо А.Я. Булгакова к брату Константину Яковлевичу из Владимира от 20 октября 1812 г.: «Ежели бы другой, а не эта старая кривая баба командовал нами, дело было бы с концом» [*РА*. 1866. С. 712] — речь идёт о политике Кутузова при отступлении французов. Но *Данилевский* вовсе не снижает роль Кутузова — напротив, он пишет: «Вообще поприще его всегда было ознаменовано тем, что он всту-

пал в предводительство армией, когда все выгоды бывали на стороне неприятелей. В 1805-м году он должен был с 50 000 человек удерживать Наполеона; в 1811-м сражаться против турков после пятилетней неудачной войны предшественников его; в 1812-м году принял начальство над войском, когда Наполеон был в 150-ти верстах от Москвы. И всегда оправдывал Кутузов выбор Александра, в тяжких обстоятельствах вверявшего ему честь и славу российского воинства» [*Данилевский—1844*. С. 83]. Иначе выглядит Кутузов у *Богдановича* — так, о донесении Кутузова после Бородинского сражения историк пишет: «<...> хитрый Кутузов, донося о последствиях сражения, выказал его в виде победы, одержанной нашими войсками. Прямодушный Барклай поступил бы иначе, и весть о поражении нашей армии, вместе с столь же роковою вестью о потере Москвы, достигнув во все концы России, поселила бы уныние в народе <...>» [*Богданович*. Т. II. С. 402]. Толстой, как помнит читатель, считал Бородинское сражение выигранным (и только Кутузов это, по мнению автора, понимал — на самом деле о победе говорили многие современники), а книгу Богдановича считал «позорной книгой» [*ЛСС—90*. Т. 15. С. 88]; «О Богдановиче нельзя говорить, — сказано в черновых записях, — ничего самостоятельного»²⁰ [*ЛСС—90*. Т. 15. С. 240]. Как писал В. Шкловский, «Л.Н. <Толстому> нужен был прежде всего материал для оспаривания. <...> Михайловский-Данилевский — официальный лгун — был удобней как раздражитель, чем умный Богданович; может быть, Толстого оттолкнул от Богдановича, с другой стороны, его некоторый скептицизм» [*Шкловский—1928*. С. 44]. С книгами Михайловского-Данилевского Толстой поступает так же свободно, как и с любыми другими источниками; так, в описании войны 1805 г. есть такое место: «Сначала чле-

²⁰ Н.П. Барсуков писал П.И. Бартеневу (28 мая 1868 г.) о «Войне и мире»: «Я зело чту сие произведение. Богданович ругает его, а Липранди хвалит...» [*Летописи—1948*. С. 154]; Толстой, как сообщает Бартеневу тот же Барсуков, прислал И.П. Липранди «Войну и мир» «с надписью “в знак искреннего уважения и благодарности”. Это его удивило, конечно, приятно, но он не знает, за что он ему благодарен» [*Там же*].

ны <австрийского военного совета. — Л.С.> опасались, что найдут Кутузова столь же твёрдым и настойчивым, как Суворова, когда он ехал в Италию, но с первой встречи увидели в Кутузове готовность во всём с ними соглашаться, даже руководствоваться их мнениями» [*Данилевский—1844*. С. 38]. Нужно ли доказывать, что толстовский Кутузов вовсе не соглашается с австрийцами?

Тем не менее уже рецензент «Русского инвалида» [1870. № 3] заметил: «Личность Кутузова восхваляется графом Толстым *безусловно*; каждое слово его, иногда случайно сказанное, иногда не имеющее, по-видимому, никакого значения, выставляется за образец, но, к сожалению, в порыве своего поклонения старому фельдмаршалу автор нередко забывает меру и даже грешит против истины». И далее он вступает за Богдановича, который вовсе не писал о Кутузове то, что приписывает ему автор «Войны и мира» (см. комментарий к т. 4, ч. 4, гл. V).

Некоторым современникам казалось, что Толстой снижает историческую роль не только Наполеона или Растропчина, но и Кутузова²¹. Но Н.А. Лачинов в рецензии на IV том «Войны и мира» возражал против идеализации роли Кутузова в Бородинском сражении: «В годину Бородинской битвы Кутузов был очень стар, ему недоставало энергии, но не той зрелой энергии, которая необходимо выразилась в принятии Бородинского боя, а впоследствии, ещё более, в отдаче Москвы, а энергической способности зорко и неутомимо следить за ходом боя и решаться ежеминутно на тот или другой образ действий; ему недоставало физических сил, чтобы иногда лично убедиться в положении дел на том или другом пункте <...> Оттого <...> 300 орудий нашего артиллерийского резерва почти не были в деле, по крайней мере не были употреблены в массу и не оказали существенного влияния на ход сражения» [*Лачинов 2*. С. 113—114]; об этом же писал А. Витмер: «Наполеон употребил свою артиллерию превосходно; с нашей же стороны вся резервная артиллерия

²¹ Так, рецензент «Петербургской газеты», процитировав толстовское замечание о том, что «Кутузов презирал ум, и знание, и даже патриотическое чувство», спрашивал: «На чём основано это обидное для памяти покойного фельдмаршала мнение?» [1870. № 4. С. 1].

в числе 26 рот и батарей (более 300 орудий) не участвовала в деле. В главной квартире просто забыли о ней» [*Витмер*. С. 111]. Любопытно свидетельство *Клаузевица*: «Роль Кутузова в отдельных моментах этого великого сражения равняется почти нулю. Казалось, что он лишён внутреннего оживления, ясного взгляда на обстановку, способности энергично вмешаться в дело и оказывать самостоятельное воздействие. Он предоставлял полную свободу частным начальникам и отдельным боевым действиям. Кутузов, по-видимому, представлял лишь абстрактный авторитет. Автор признаёт, что в данном случае он может ошибаться и что его суждение не является результатом непосредственного внимательного наблюдения, однако в последующие годы он никогда не находил повода изменить мнение, составленное им о генерале Кутузове, и это, конечно, могло его лишь в этом мнении утвердить. Таким образом, если говорить о непосредственно персональной деятельности, Кутузов представлял меньшую величину, чем Барклай, что главным образом приходится приписать преклонному возрасту. И всё же в целом Кутузов представлял гораздо большую ценность, чем Барклай. Хитрость и рассудительность обычно не покидают человека даже в глубокой старости; и князь Кутузов сохранил эти качества, с помощью которых он значительно лучше охватывал как ту обстановку, в которой сам находился, так и положение своего противника, чем то мог сделать Барклай с его ограниченным умственным кругозором» [С. 69—70] — отметим прежде всего «полную свободу», предоставленную «частным начальникам»: у Толстого всё это присутствует, но с положительным знаком. Тот же *Клаузевиц* пишет (вполне в духе «Войны и мира»), что «Кутузов, наверное, не дал бы Бородинского сражения, в котором, по-видимому, не ожидал одержать победу, если бы голоса двора, армии и всей России не принудили его к тому» [С. 70]; мнение Кутузова о победе при Бородине и провозглашённое им намерение дать второе сражение для защиты Москвы *Клаузевиц* называет «базарными выкриками хитрого старика», замечая при этом, что они «были полезнее для дела, чем честность Барклая» [С. 71]: «простой, честный и дельный сам по себе, но ограниченный Барклай, не способный проникнуть в самую

глубь обстановки столь гигантского масштаба, был бы подавлен моральными возможностями французской победы, в то время как легкомысленный Кутузов противопоставил им дерзкое чело и целый поток хвастливых речей» [Там же].

Ф. Глинка в «Очерках Бородинского сражения» описал Кутузова в день сражения за Шевардинский редут (24 августа): он сидит на скамеечке «с нагайкою в правой руке, то помахивая ею, то концом её чертя что-то на песке, а между тем дума полная, высокая, сияла на лице его» [Ф. Глинка. С. 27]. А вот как выглядит толстовский Кутузов: «Общее выражение лица Кутузова было сосредоточенное, спокойное внимание и напряжение, едва преобладавшее усталость слабого и старого тела» [Т. 3. Ч. 2. Гл. XXXV]. Он сидит, «понутив седую голову», «физические силы оставляли старика», «он задрёмывал», «с трудом жевал жареную курицу», кричит, «делая угрожающие жесты трясущимися руками и захлёбываясь»... Ничего поэтического, ничего высокого — но здесь другая поэзия и другое величие. Как писал Н. Страхов, «художник дал нам новую, русскую формулу *героической жизни*, ту формулу, под которую подходит Кутузов и под которую никак не может подойти Наполеон» — это «простота, добро и правда» [Страхов 2. С. 264]. Интересно замечание французского критика Адольфа Бадэна (в его одобрении нетрудно различить удивление перед художественной неконвенциональностью, то есть перед толстовским нарушением принятых приёмов описания героя): «<...> не исключая и Кутузова, любимого автором героя, его великого человека, нет ни одного героя, которого граф Толстой не пожелал бы принизить. Кутузов выставлен подозрительным, ворчливым, способным гневаться до неистовства, и в то же время пресмыкательство его перед царём доведено до крайности», — пишет автор и тут же замечает, что «тени, которых не щадит художник для своих картин, кладут отпечаток на них лишь более разительной правдивости» [Адольф Бадэн о романе «Война и мир» // Ф.И. Булгаков. Граф Л.Н. Толстой и критика его произведений. Ч. II. СПб.; М., 1886. С. 6—7].

На другом полюсе — отсутствие простоты, игра, искусственные интересы, особенно оскорбительные, так как

они паразитируют на настоящем горе. Весьма показатель-но, как пользуется Толстой источником в сцене с полковником Мишо [Т. 4. Ч. 1. Гл. III]. В распоряжении писателя было французское письмо, написанное Мишо де Боретуром к *Данилевскому* (оно напечатано у *Богдановича* [Т. II. С. 597—598]); *Данилевский* [Ч. II. С. 419—422] и *Богданович* [Т. II. С. 288—290] цитируют его в переводе (каждый в своём). Сопоставим имеющиеся тексты.

Представляя посланного, автор «Войны и мира» пишет, что Мишо не знал по-русски, но был «*quoique étranger, Russe de sœur et d'âme*» [хотя иностранец, но русский в глубине души], как он сам говорил про себя». Французское выражение взято из письма Мишо, но то, что Мишо не знал по-русски (возможно, так оно и было в действительности, хотя с 1805 г. Мишо состоял в русской службе), Толстой добавил от себя. Потом — четырьмя строками ниже — Толстой повторит это выражение; так возникает один из лейтмотивов сцены: Мишо и г р а е т, он не способен чувствовать то, что он изображает, он ч у ж о й. Существенно, что полковник «никогда не видал Москвы до кампании»; характерна и вставка французских слов и выражений в русский текст, создающая впечатление искусственности и фальши: из письма Мишо взято слово «*chagrin*», но тут же отмечено, что «источник *chagrin* [горя] г-на Мишо должен был быть другой, чем тот, из которого вытекало горе русских людей»; приведено выражение автора письма «*dont les flammes éclairaient sa route*» [пламя которой освещало его путь (в подлиннике «та» — «мой»)], стилистически невозможное для Толстого. Если у *Данилевского* сказано просто: «По грустному виду посланного заключил император, что привезённое им донесение было не радостное», то у Толстого «Мишо имел такое печальное лицо, когда он был введён в кабинет государя, что государь тотчас же спросил у него <...>»; вместе с уступительной конструкцией: «Хотя источник *chagrin* г-на Мишо и должен был быть другой <...>», — это выражение утверждает впечатление игры, неестественности, фальши — эта игра в «Войне и мире» свойственна, пожалуй, всем французам: вспомним, что Ланжерон на Аустерлицком совете (он «с тонкой улыбкой южного французского лица, не покидавшей

его во всё время чтения, глядел на свои тонкие пальцы, быстро перевёртывавшие за углы золотую табакерку с портретом») возражает Вейротеру, «но было очевидно, что цель этих возражений состояла преимущественно в желании дать почувствовать генералу Вейротеру, столь самоуверенно, как школьникам-ученикам, читавшему свою диспозицию, что он имел дело не с одними дураками, а с людьми, которые могли и его поучить в военном деле» [Т. 1. Ч. 3. Гл. XII].

Дальнейший диалог строится в полном соответствии с текстом письма Мишо (слово *jamaïs* [никогда] говорит не государь, а сам Мишо), но ремарки принадлежат Толстому — они и создают нужное впечатление. «Со вздохом опуская глаза», «ужаснулся тому, что он сделал», «успокоился», «не успел ещё приготовить ответа», «сказал он, чтобы выиграть время», «сказал Мишо с тонкой, чуть заметной улыбкой на губах, успев приготовить свой ответ в форме лёгкого и почтительного *jeu de mots* [игры слов]», «сказал он с почтительной игривостью выражения», «говорил уполномоченный русского народа», который (здесь Толстой повторит «*quoique étranger, Russe de cœur et d'âme*») «почувствовал себя в эту торжественную минуту — *entousiasmé par tout ce qu'il venait d'entendre* [восхищённым всем тем, что он услышал] (как он говорил впоследствии), и он в следующих выражениях изобразил как свои чувства, так и чувства русского народа, которого он считал себя уполномоченным». В черновиках есть запись: «В Петербурге разговор Мишо. Мои русские и каламбур, в страхе» [ЛСС—90. Т. 13. С. 39, со ссылкой на *Богдановича*, передающего разговор Мишо с Александром], которая заключает зерно эпизода с игрой слов.

Отсвет игры, театральности падает и на второго участника разговора — императора Александра. «Государь тяжело и часто стал дышать, нижняя губа его задрожала, и прекрасные голубые глаза мгновенно увлажнились слезами [в переводе *Данилевского*: “Слёзы полились из глаз монарха и затмили их”]. Но это продолжалось только одну минуту. Государь вдруг нахмурился, как бы осуждая самого себя за свою слабость»; «успокоенно и с ласковым блеском глаз сказал государь, ударяя по плечу Мишо»

[в переводе *Данилевского*: «потрепав Мишо по плечу»]; «выпрямляясь во весь рост и с ласковым и величественным жестом обращаясь к Мишо»; «сказал он, подняв свои прекрасные, кроткие и блестящие чувством глаза к небу»; «государь показал рукой на половину груди» [в переводе *Данилевского*: «показывая рукою на грудь свою»]; «государь вдруг повернулся, как бы желая скрыть от Мишо выступившие ему на глаза слёзы, и прошёл в глубь своего кабинета. Постояв там несколько мгновений, он большими шагами вернулся к Мишо и сильным жестом сжал его руку пониже локтя. Прекрасное, кроткое лицо государя покраснелось, и глаза горели блеском решимости и гнева» [в переводе *Данилевского*: «При этих словах император начал ходить по комнате; лицо его пламенело. Возвращаясь скорыми шагами, он крепко сжал руку посланного и продолжал»]. Толстой даже более точен в переводе, чем *Данилевский*, которому, очевидно, показалось неподходящим слово «*rommes de terre*» (картофель) [Александр говорит, что он скорее будет есть картофель с последним из его крестьян, чем подпишет мир с Наполеоном] и он в своём переводе заменил его на «питаться хлебом в недрах Сибири».

Замечу, что эта сцена вызвала раздражение П.А. Вяземского, выступившего до этого с критикой IV тома «Войны и мира» (в январском номере *РА* за 1869 г.); 9 марта 1869 года он писал Бартеневу: «Что за охота пародировать известный рассказ Michau. Разговор его с государем, чувства и мысли, выраженные государем, — всё это в высшей степени драматически и глубоко исторически. Как же не назвать всё это кощунством, скоморошеством истории, да ещё весьма тупым и пошлым? <...> Это всё лакейские пересуды и кривые толки в передней о том, что говорится и делается во внутренних покоях господ» [*РГАЛИ*. Ф. 46. Оп. 1. Ед. 561. Л. 134].

И, конечно, более всего трансформируется материал в сценах, связанных с Наполеоном. Сцена переправы польских улан через Вилию восходит к книге Ф. Сегюра «История Наполеона и его великой армии» (указано в: *Апостолов—1928*. С. 122—124, там же соответствующий французский текст; в недавнее время книга Сегюра дважды переиздана под названием «Поход в Россию»). Ср.:

«Наполеон <...> приказал польскому эскадрону своей гвардии переплыть реку. Это отборное войско бросилось туда безо всякого колебания. Вначале они шли в порядке, а когда глубина увеличилась и они уже не достигали дна, то удвоили усилия и вскоре вплавь достигли середины реки. Но там более сильное течение разъединило их. Тогда лошади перепугались, уклонились в сторону и их стало уносить силой течения. Они уже перестали плыть и просто носились врассыпную по поверхности воды. Всадники выбивались из сил, тщетно стараясь заставить лошадей плыть к берегу. Наконец, они покорились своей участи. Их гибель была неизбежна, но они пожертвовали собой перед лицом своей родины, ради неё и её освободителя! Напрягая последние силы, они повернули голову к Наполеону и крикнули: “Да здравствует император!”. Трое из них, ещё держа голову над водой, повторяли этот крик и затем исчезли в волнах. Армия точно застыла от ужаса и восхищения перед этим подвигом. Что касается Наполеона, то он быстро отдал приказания и с точностью указал всё, что надо было сделать, чтобы спасти наибольшее число из них. Он даже не казался взволнованным — оттого ли, что привык подавлять свои чувства, или же считал всякие проявления подобных чувств на войне неуместной слабостью, пример которой он не должен был

«Было приказано, отыскав брод, перейти на ту сторону. Польский уланский полковник, красивый старый человек, раскрасневшись и путаясь в словах от волнения, спросил у адъютанта, позволено ли ему будет переплыть с своими уланами реку, не отыскивая брода. Он с очевидным страхом за отказ, как мальчик, который просит позволения сесть на лошадь, просил, чтобы ему позволили переплыть реку в глазах императора. Адъютант сказал, что, вероятно, император не будет недоволен этим излишним усердием.

Как только адъютант сказал это, старый усатый офицер с счастливым лицом и блестящими глазами, подняв кверху саблю, прокричал: «Виват!» — и, скомандовав уланам следовать за собой, дал шпоры лошади и подскочил к реке. Он злобно толкнул замыкающую под собой лошадь и бухнулся в воду, направляясь вглубь к быстрине течения. Сотни уланов поскакали за ним. Было холодно и жутко на середине и на быстрине течения. Уланы цеплялись друг за друга, сваливались с лошадей, лошади некоторые тонули, тонули и люди, остальные старались плыть кто на седле, кто держась за гриву. Они старались плыть вперед на ту сторону и, несмотря на то, что за полверсты была переправа, гордились тем, что они плывут и тонут в этой реке под взглядами человека, сидевшего на бревне и даже не смотревшего на то что они делали. Когда вернувшийся адъютант, выбрав удобную минуту, позволил себе обратить внимание императора на преданность поляков к его особе, маленький человек в сером

показывать» [Сегюр. С. 37—38; практически идентичный перевод в издании 2002 года].

сюртуке встал и, подозвав к себе Бертье, стал ходить с ним взад и вперёд по берегу, отдавая ему приказания и изредка недовольно взглядывая на тонувших улан, развлекаявших его внимание.

<...> Он велел подать себе лошадь и поехал в свою стоянку.

Человек сорок улан потонуло в реке, несмотря на высланные на помощь лодки. Большинство прибилося назад к этому берегу. Полковник и несколько человек переплыли реку и с трудом вылезли на тот берег. Но как только они вылезли в обшлёпнувшемся на них, стекающем ручьями мокром платье, они закричали: «Виват!», восторженно глядя на то место, где стоял Наполеон, но где его уже не было, и в ту минуту считали себя счастливыми. [Т. 3. Ч. 1. Гл. II].

Прежде всего заметим, что Толстой увеличивает количество участников: у Сегюра переплыть реку приказано эскадрону (150—200 всадников), а в «Войне и мире» действует кавалерийский полк (четыре-шесть эскадронов) и полковник, которого вовсе не упоминает Сегюр. Добавлен ещё один мотив: полковник просит разрешения переплыть реку, не отыскивая брода, в то время как в книге адъютанта Наполеона поиски брода не упоминаются. Толстой придумывает подробности: «Уланы цеплялись друг за друга, сваливались с лошадей, лошади некоторые тонули, тонули и люди, остальные старались плыть кто на седле, кто держась за гриву». Момент идейный — поляки жертвуют жизнью «перед лицом своей родины, ради неё и её освободителя» (ведь Наполеон обещал восстановить Королевство Польское, разделённое в конце XVIII века между Россией, Пруссией и Австрией) — Толстой опускает, но зато основной акцент сделан на поклонении Наполеону. Конечно, ни слова о том, что приказал Наполеон для спасения тонущих, не сказано в «Войне и мире» — напротив, Наполеон только потому обращает

внимание на тонувших улан, что они «развлекают его внимание», то есть отвлекают его от разговора с Бертье; впрочем, он вскоре уезжает, и оставшиеся в живых кричат «Виват!» пустому месту. Всё, таким образом, построено так, что неизбежен вывод в конце главы: «Кого хочет погубить — лишит разума».

Вот эпизод из первой части третьего тома (Гл. VII): Балашёв [в некоторых источниках — Балашов] на обеде Наполеона. «Наполеон <...> неожиданно подошёл к Балашёву и с легкой улыбкой так уверенно, быстро, просто, как будто он делал какое-нибудь не только важное, но и приятное для Балашёва дело, поднял руку к лицу сорокалетнего русского генерала и, взяв его за ухо, слегка дёрнул, улыбнувшись одними губами.

— Avoir l'oreille tirée par l'Empereur [Быть выданным за ухо императором] считалось величайшей честью и милостью при французском дворе.

— Eh bien, vous ne dites rien, admirateur et courtisan de l'Empereur Alexandre? [Ну-у, что ж вы ничего не говорите, обожатель и придворный императора Александра?] — сказал он, как будто смешно было быть в его присутствии чьим-нибудь courtisan и admirateur, кроме его, Наполеона».

Когда появился IV том «Войны и мира», М. Богданович в статье «За и против» [«Голос». 1868. № 129] процитировал «подлинную записку генерал-адъютанта Балашёва, хранившуюся в архиве главного штаба»: «Наполеон, беседуя с Балашёвым, взял за ухо Коленкура. “А вы что скажете, угодник императора Александра?” — сказал он ему». Соглашаясь с Толстым «насчёт несовершенной достоверности и отсутствия здоровой критики в трудах Данилевского и Тьера», Богданович всё же больше верит им, чем «художественному представлению, основанному на исторических документах, графа Толстого. Иначе мы бы поверили ему, что Наполеон взял за ухо прибывшего к нему в качестве доверенного лица российского монарха генерал-адъютанта Балашёва». Как писал В. Шкловский, «культурно-национальным пунктом отрывка и в то же время типичнейшим случаем деформации исторического материала является перенесение объектов. Наполеон <...> щиплет за ухо не своего придворного, а Балашёва, что подчёркивается: “поднял руку к лицу сорокалетнего генерала”».

“Поднял руку к лицу” имеет тон оскорбления. Здесь Наполеон по воле Толстого осуществляет привычки и навыки своего двора на человеке другой среды. Это увеличивает странность поступка» [Шкловский—1928. С. 175]. И естественно звучит обращение к Коленкуру — «угоднику императора Александра»; Коленкур, бывший прежде — до Лористона — посланником в России, не желал войны с русскими и убеждал своего императора в мирных намерениях Александра I, потому-то Наполеон и называет его угодником русского царя.

Казалось бы, всё ясно. Но в очерке Д. Давыдова «Тильзит в 1807 году» можно прочесть следующее место: «Наполеон <...> экзаменовал кадет, держа каждого экзаменуемого за ухо. Странная привычка или ухватка! Он так же поступил относительно князя Иоанна Лихтенштейна во время мирных переговоров в Брюне. Не соглашаясь однажды на некоторые статьи, на которые он был прежде согласен, Наполеон вздумал по-прежнему взять за ухо уполномоченного генерала <...>» [Давыдов. Ч. 2. С. 265]. Как видим, здесь появляется именно чужой генерал, на котором Наполеон «осуществляет привычки и навыки своего двора» — совпадение знаменательное!

В. Шкловский приводит описание туалета Наполеона, сделанное Лас Казом на острове Св. Елены: «Император снимает свой фланелевый жилет. У него жирное белое тело, почти без волос. Он отличается толщиной такого рода, которая не свойственна мужчинам, над чем он сам иногда посмеивается.

Император растирает себе грудь и руки жёсткой щеткой, которую он затем передаёт камердинеру с тем, чтобы тот растирал ему спину и плечи. При этом он округляет спину и если хорошо настроен, то приговаривает: “Allons fort, comme sur un âne” (Ну-ка, крепче три меня, как осла). Затем он обливался одеколоном, пока имел его в своём распоряжении...» [Цит. по: Шкловский—1928. С. 181]. Как пишет исследователь, «деформация материала состоит в том, что эти процедуры исторически верны не для Бородина, а для комнатной жизни Наполеона, а странными кажутся потому, что происходят на поле битвы» [Там же. С. 180]. «Наполеон обтирался одеколоном на

острове Св. Елены в жару, во время безделья, а не под Москвой, перед боем» [*Там же*. С. 182].

То же происходит и с ещё одной подробностью: когда Наполеон принимал Балашёва, тот «невольнo наблюдал дрожание икры в левой ноге Наполеона, которое тем более усиливалось, чем он более возвышал голос»; фразу «*La vibration de mon mollet gauche est un grand signe chez moi*» Наполеон действительно произнёс — на острове Св. Елены (она есть в книге Лас Каза), но «grand» здесь не обязательно переводить как «великий» — Толстой своим переводом явно снижает персонажа [*Там же*. С. 170].

Иначе происходит трансформация источников в сцене с портретом сына Наполеона. Этот эпизод прокомментирован в книге В. Шкловского: «Остранение распространяется на титул и на сюжет картины. Дальнейшее остранение состоит в том, что Наполеон перед портретом сына не испытывает, по словам Толстого, никаких эмоций, а <...> только телесно их имитирует. Если бы вставить сюда психологию, т.е. то, что Наполеон мог любить своего сына, то цель Толстого здесь не была бы достигнута» [*Там же*. С. 182]. Вот отрывок из «Мемуаров» Боссе, которыми пользовался Толстой: «Я передал императору депеши, которые императрица соблаговолила мне доверить, и спросил, какие он отдаст приказы относительно портрета его сына. Я думал, что, находясь накануне великой битвы, к которой он, казалось, так стремился, он отложит на несколько дней открытие ящика, в котором была заключена эта драгоценная картина. Я ошибался: Наполеон, стремившийся как можно скорее насладиться лицезрением дорогого для его сердца образа, приказал мне немедленно принести этот ящик. Не могу выразить то удовольствие, которое доставил ему этот образ. Единственной мыслью, омрачавшей это нежное наслаждение, было сожаление о том, что он не может заключить этого дорогого ему ребёнка в свои объятия. Его глаза выражали искреннейшую нежность. Он сам позвал всех дежурных адъютантов и генералов, расположившихся на некотором расстоянии от его палатки, чтобы они смогли разделить чувства, переполнявшие его душу. “Господа, — сказал он им, — если бы моему сыну было пятнадцать лет, можете быть уверены, что он находился бы здесь,

среди такого множества храбрецов, не только на холсте”. Через мгновение он добавил: “Это восхитительный портрет!” Затем он приказал поместить его снаружи палатки, на стуле, чтобы все офицеры и даже солдаты его гвардии могли его увидеть и преисполниться еще большей храбрости. Эта картина оставалась таким образом выставленной в течение всего вечера» [фр. текст см.: *Покровский*. С. 127—128; пер. Т.Н. Эйдельман].

Описание портрета Жозефа-Франсуа-Шарля (1811—1832), сына Наполеона, тоже взято из мемуаров Боссе: «Маленький ребёнок был чудесно запечатлён полулежащим в колыбели и играющим маленьким скипетром и маленьким глобусом как погремушками» [*De Bosset. Mémoires anecdotiques sur L’interieur du palais impérial. Bruxelles, 1827. T. 2. P. 61; цит. по: Манаев. С. 89—90*]. Как считает Н. Манаев, Толстой мог видеть этот портрет в Версале в марте 1857 года; кроме того, были распространены гравюры и репродукции с этого портрета; он воспроизведён, в частности в книге Артура Леви «Наполеон Бонапарт» [М., 1912] между страницами 64 и 65. И даже такая подробность, как сходство взгляда мальчика со взглядом Христа в Сикстинской Мадонне, очень точна. Знаменитая картина Рафаэля, изображающая Богородицу с младенцем Христом (написана в 1515—1519 гг.), хранится в Дрезденской галерее, где её и видел Толстой. Как пишет *Манаев*, «это сравнение поразительно точно. Жерар действительно изобразил сына Наполеона в духе рафаэлевского Христа-младенца: на круглом детском личике с пухлыми губами светятся умом совсем не детские глаза, серьёзные и скорбные» [С. 90]. И, наконец, фраза Наполеона: «Снимите его <...> Ему ещё рано видеть поле сражения», — тоже имеет источник — ср.: «Боссе <...> привёз Наполеону портрет его сына. Император в молчании рассматривал его и потом приказал выставить оный пред палаткою, но тотчас после с живостью и как бы отрываясь от душевной тревоги, которую он усиливался превозмочь, сказал: “Снимите его! Ему слишком рано видеть поле битвы”» [*Липранди—1867. С. 24—25; свидетельство барона Денье*].

А теперь посмотрим, как описывает эту сцену Толстой. Наполеон здесь, как и везде в «Войне и мире», играет —

он «притворился, что не видит господина Боссе», чтобы не испортить игры своих придворных; он «подрал за ухо» Боссе — даже «удостоил его прикосновения за ухо»; «он подошёл к портрету и сделал вид задумчивой нежности»; «стул подскочил под него» (как и орден сам оказался в его руке в сцене награждения русского солдата в Тильзите). То остранение, о котором писал В. Шкловский, — остранение названия картины (мальчика на портрете «почему-то все называли королём Рима») и её сюжета («не совсем ясно было, что именно хотел выразить живописец, представив так называемого короля Рима протыкающим земной шар палочкой») усиливает ореол фальши, искусственности, игры, и без того сгущающийся вокруг Наполеона.

Столь же предвзято отношение Толстого к французам (и, пожалуй, вообще к иностранцам). Прочитав слова Каратаева о французах: «Говорят, нехристи, а тоже душа есть» [Т. 4. Ч. 2. Гл. XI], — французский критик писал: «Таков крайний предел уступок графа Толстого иностранцу. <...> Этот несравненный аналитик <...> впадает в шарж, как только ему хочется изобразить иностранца. <...> Во французе он видит только фразёра и кривляку <...> Немец рассуждает, сочиняет теории и в своём неизлечимом ослеплении не замечает практической их невыполнимости <...> Англичанин (в «Люцерне») вечный турист, какого можно встретить в Швейцарии: эгоист и неспособный ни на артистическое чувство, ни на какой благородный порыв. Маркиз контрабандный или чичероне при гостинице — таков итальянец» [Цион. С. 24—25; статья «Le Pessimiste Russe Lew Tolstoï» («Русский пессимист Лев Толстой») напечатана в томе XXII «Nouvelle Revue»; С.А. Толстая, прочитав статью, писала Толстому 5 июня 1883 года: «Меня очень интересовало, но много не понял он тебя, и мне было досадно». — *Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому*. М., 1936. С. 215]. Но критик понял то, чего не поняли многие соотечественники писателя. «Шовинисты усматривали в “Войне и мире” оскорбление патриотизма. Это именно потому, что автор этого творения разрушил все легенды относительно кампании 1812 г., легенду о сожжении Москвы Ростопчиным, легенду о знаменитом стратегическом плане, состоявшем в не-

прерывном отступлении с целью заманить неприятеля во внутрь страны и тем легче истребить его, — потому что он разоблачил путаницу позорных интриг, имевших место в главной квартире; потому что он подорвал исторический престиж старого генералиссимуса Кутузова, очертив точный портрет этого беспечного кунктатора. Так как Толстой осмелился всё это сделать, то его и обвинили в покусительстве на славу национальную, словно повествование об этой войне не превратилось под пером его в грандиознейшую эпопею» [*Цион*. С. 28].

Всем памятно знаменитое место из II главы третьей части IV тома: «И благо тому народу, который не как французы в 1813 году, отсалютовав по всем правилам искусства и перевернув шпагу эфесом, грациозно и учтиво передает её великодушному победителю, а благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие в подобных случаях, с простотою и лёгкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменяется презрением и жалостью». Конечно, французы не жгли своих городов, а союзников, вступавших в Париж, приветствовали на улицах (так, по крайней мере, пишут участники войны); но партизанская война была не только в России — в «Записке генерала Неверовского о службе своей в 1812 году» сообщается, что «пруссские мужики также рассеянных злодеев убивают» [«Чтения в Обществе истории и древностей российских». 1859. Кн. I. С. 82]; в книге *Радожницкого*, участника заграничного похода 1813—1815 годов, несколько раз говорится о партизанской войне во Франции. «Французский народ, претерпевая разорение от вторжения чужеземных войск, ожесточился и стал вооружаться для защиты собственности» [Т. III. С. 8]. Автор неоднократно говорит о «возмущении народа в покорённых областях» [С. 42], о «французских партизанах» [С. 49, 50, 62], о том, что «жители, терпя разорение, сами стали участвовать в войне всеобщим вооружением и злодействами» и заключает: «Война доходила здесь почти до такой же крайности, как в России» [С. 104].

Ещё один любопытный пример. Толстой пишет [Т. 4. Ч. 3. Гл. XVII]: «Ней, шедший последним (потому что, не-

смотря на несчастное их положение или именно вследствие его, им хотелось побить тот пол, который ушиб их, он занялся взрыванием никому не мешавших стен Смоленска), — шедший последним, Ней, с своим десяти тысячным корпусом, прибежал в Оршу к Наполеону только с тысячью человеками, побросав и всех людей, и все пушки и ночью, украдучись, пробравшись лесом через Днепр». Толстой знал, что корпус Нея находился в арьергарде наполеоновской армии; 5 ноября маршал выступил из Смоленска с восемью тысячами человек (на пути к нему присоединялись отставшие от своих полков части); взорвав восемь башен и часть стен Смоленского кремля, 6 ноября, после сражения у р. Лосмины с русскими войсками под командой Милорадовича (Ней отклонил предложение о капитуляции), маршал с тремя тысячами отступил к Орше, вынужденный по дороге оставлять обозы и артиллерию. В Оршу он привел 800—900 человек. *Богданович*, излагающий эти факты, оценивает отступление Нея как подвиг [Т. III. С. 133—142]. Значит ли это сопоставление, что Толстой сознательно искажает факты? В журнале «Вестник Европы» [1813. № 7. Ч. LXVIII] мы можем прочесть статью М.Ф. Орлова («Замечания одного русского офицера на 29-й бюллетень большой французской армии») «Он <Ней> бросил свой корпус, как Наполеон армию. Каков господин, таков и слуга. Бегущий Ней принят был с распростёртыми объятиями от императора, который, увидевши его, сказал: “Я и сам то же бы сделал на его месте”» [С. 302; подп. *Der Patriot*]. Иными словами, у события нет единственного толкования — именно об этом писал Толстой в статье 1868 года, когда спорил с достоверностью исторических описаний.

Отступление о Наполеоне у Толстого

В 1935 году Б.М. Эйхенбаум напечатал статью «Творческие стимулы Л. Толстого». Он процитировал письмо писателя к А.А. Толстой (15—30 декабря 1874 г.): «Вы говорите, что мы как белка в колесе. Разумеется. Но этого не надо говорить и думать. Я по крайней мере, что бы я ни делал, всегда убеждаюсь, что *du haut de ces pyramides 40 siècles me contemplent* <с высоты этих пирамид со-

рок веков смотрят на меня» и что весь мир погибнет, если я остановлюсь». Исследователь напоминает: в «Войне и мире» Толстой, противопоставляя Кутузова Наполеону, цитировал эти же слова, вкладывая в них отрицательный смысл — теперь это «принцип его собственного поведения — формула, выражающая главный его стимул к жизни и к работе» [Эйхенбаум—1969а. С. 84]. Это было, пишет Эйхенбаум, «ощущение особой силы, особой исторической миссии. Это была жажда не только власти и славы, но и героического поведения, героических поступков» [Там же. С. 86]. Я не стану пересказывать эту замечательную статью — книга 1969 года доступна, и каждый может прочесть её; остановлюсь лишь на одном аспекте. «Толстой, — пишет Эйхенбаум, — недаром цитировал слова Наполеона. Он глубоко понимал его, одновременно и завидуя ему и презирая — не за деспотизм, а за Ватерлоо, за остров Святой Елены. Он осуждал его вовсе не с этической точки зрения, а как победитель побеждённого. Совсем не этика руководила Толстым в его жизни и поведении: за его этикой как подлинное правило поведения и настоящий стимул к работе стояла *героика*. Этика была, так сказать, вульгарной формой героического — своего рода извращением героики, которая не нашла себе полного исхода, полного осуществления. “Непротивление злу насилием” — это теория, которую в старости мог бы придумать и Наполеон: теория состарившегося в боях и победах вождя, которому кажется, что вместе с ним состарился и подобрел весь мир» [Там же. С. 85].

Убеждён, что к словам исследователя, какими бы странными и спорными они нам ни казались, нужно прислушаться. Конечно, этика очень важна в толстовском отрицании Наполеона — писатель прямо говорит: «Тот идеал *славы и величия*, состоящий в том, чтобы не только ничего не считать для себя дурным, но гордиться всяким своим преступлением, приписывая ему непонятное сверхъестественное значение, — этот идеал, долженствующий руководить этим человеком и связанными с ним людьми, на просторе вырабатывается в Африке» [Эпилог. Ч. I. Гл. III]. Но стоит заметить и толстовское пренебрежение к выскочке (об этом писал В. Шкловский в книге 1928 г.):

«Человек без убеждений, без привычек, без преданий, без имени, даже не француз, самыми, кажется, странными случайностями продвигается между всеми волнующими Францию партиями и, не приставая ни к одной из них, выносится на заметное место» [*Там же*]. Для Толстого оказалось очень важным чтение мемуаров маршала Мармона прежде всего потому, что он нашёл в них подтверждение своей концепции ложного величия Наполеона. В черновых рукописях осталось упоминание об «аркольской луже» — так старый князь Болконский называет эпизод взятия Аркольского моста, когда Бонапарт со знаменем бросился вперёд и войска последовали за ним и взяли мост: «Очевидец передал Андрею, что ничего этого не было. Правда, что на мосту замялись войска и <...> бежали; правда, что сам Бонапарт подъехал и слез с лошади, чтобы осмотреть мост. В то время, как он слез — позади, а не впереди войск, войска, бывшие впереди, побежали назад <...> и сбили с ног маленького Бонапарта, и он, желая спастись от давки, попал в наполненную водой канаву, где испачкался и промок и из которой его с трудом вынули, посадили на чужую лошадь и повезли обсушивать. А мост так и не взяли в тот день, а взяли на другой <...>» [*ПСС—90*. Т. 13. С. 618]. У Мармона (это и есть «очевидец») эпизод изложен несколько иначе: генерал Ожеро «схватил знамя и пробежал несколько шагов по плотине, но за ним никто не последовал. Вот такая история этого знамени, о котором столько говорили, что он якобы перешёл с ним через Аркольский мост и опрокинул противника; на самом деле всё свелось к простой безрезультатной демонстрации. Вот так пишется история!». Но потом в дивизию прибыл Бонапарт; он действительно «встал во главе колонны: он схватил знамя, и на этот раз колонна двинулась за ним. Подойдя к мосту на расстоянии двухсот шагов, мы, может быть, и преодолели бы его, невзирая на убийственный огонь противника, но тут один пехотный офицер, обхватив руками главнокомандующего, закричал: «Мой генерал, вас же убьют, и тогда мы пропали. Я не пушу вас дальше, это место не ваше». <...> В один момент вокруг него образовалась толпа. <...> Беспорядок был таков, что генерал Бонапарт упал с плотины в заполненный водой канал <...>

Луи Бонапарт и я бросились к главнокомандующему, попавшему в опасное положение; адъютант генерала Доммартена <...> отдал ему свою лошадь, и главнокомандующий вернулся в Ронко, где смог обсушиться и сменить одежду. <...> Противник атаковал и вынудил нас отступить» [Mémoires du maréchal Marmont, duc de Raguse. De 1792 à 1832. Paris. 1856—1857. Vol. 1. P. 236—238; *Мармон*. С. 41].

Толстовское недоверие к источникам и спор с ними провоцировался ещё и тем, что источники спорили между собой: Толстой выбирал то, что ему казалось вернее. Так, после чтения Мармона он записал в Дневнике: «Любит ездить по полю битвы. Трупы и раненые — радость» [ЛСС—90. Т. 48. С. 60, запись от 19 марта 1865 г.] (нетрудно заметить, как эта запись откликнулась в поездке Наполеона по аустерлицкому полю после сражения). Но вот цитата из мемуаров Сегюра, которые были известны Толстому: «Император объехал тогда поле битвы. Никогда ещё ни одно поле сражения не имело такого ужасного вида!» [Сегюр. С. 138]. «Среди этой массы трупов, по которым приходилось ехать, чтобы следовать за Наполеоном, нога одной из лошадей наступила на раненого и вырвала у него крик, последний признак жизни или страдания. Император <...> несколько облегчил свою душу возгласами возмущения и теми заботами, которые были оказаны этому несчастному. Кто-то, чтоб успокоить его, заметил, что это русский солдат. Но император с живостью возразил, что после победы нет врагов, а есть только люди!» [Там же. С. 139].

Из многочисленных возражений, которые были сделаны Толстому по поводу его Наполеона, приведём замечание В.П. Буренина: «Для философии графа Толстого, которая венцом человеческой жизни, венцом человеческих стремлений и наслаждений считает не что иное, как только любовь и семейное счастье под комфортабельным кровом, с верной подругой, с кучей ребят, с добрыми и простыми соседями-пейзанами или вообще людьми непосредственно близкими к природе, — для такой философии каждый политический и общественный деятель кажется актёром, фразёром, совершающим всякий свой подвиг для того, чтоб им любовались другие, или для того, чтоб он мог полюбоваться сам своим величием. Но ведь это

едва ли справедливо на самом деле. Скорей можно думать, что истинные политические герои, понимающие людей и привыкшие двигать ими, весьма мало склонны увлекаться мечтаниями а la Манилов в великие моменты своей деятельности. Для графа Толстого Наполеон, ожидающий на Поклонной горе депутацию “бояр” — фигура комическая, и минута этого ожидания — одна из пошлейших минут в жизни исторического деятеля; поэтому граф заставляет Наполеона предаваться мыслям и мечтаниям на манер тех, к которым склонны российские “благодетельные помещики”, но, по всей вероятности, для Наполеона, понимающего человеческое существование вообще и своё собственное в частности несколько иначе, это была одна из самых трагических минут его жизни. Он, идя в Россию, воображал себя цивилизатором (собственной ли волей подталкиваемым или какими-то мистическими силами, как уверяет граф Толстой — это не составляет существенного вопроса); он, вероятно, рассчитывал встретить в этой стране население если и полуварварское, то отнюдь не носящее в себе качества диких кочевых племён. А это покидание городов, это бегство целых масс населения бог весть куда, это равнодушие к своему дому, очагу, достоянию, которое он встретил в русских, конечно, казалось ему, западному человеку, отнюдь не патриотической доблестью, как кажется оно нам и как оно было в действительности. Он, конечно, понял, что в этом качестве русских лежит погибель его цивилизаторских намерений, что дело его потеряно навсегда и было предпринято совершенно напрасно. В Москве, которая предстала ему пустыней, он понял это, быть может, с глубокой скорбью и, конечно, он скорбел не о том, что ему “не удалась развязка театрального представления”. Быть может, я ошибаюсь, но мне кажется, что легкомысленное обращение романистов с крупными историческими деятелями не особенно полезно: оно распространяет в массе публики не здоровый критический взгляд на ложные стороны их деятельности, а самодовольное и мелкое воззрение на общий строй её, воззрение, близкое к плоской фамильярности. Если вы хотите развенчивать героев, то уж развенчивайте их по крайней мере, во-первых, обстоятельно, доказательно, а во-вторых — во имя действительно широ-

ких и разумных требований, а не во имя пошло-буржуазного взгляда на события» [Санкт-петербургские ведомости. 1869. № 69. С. 2].

Убедительно? А вот что написано в конце XX века — по тому же поводу: выписав большой фрагмент из третьей главы первой части Эпилога, где говорится о Наполеоне, от слов «Человек без убеждений» до «вместо гениальности являются глупость и подлость, не имеющие примеров», Г. Лесскис пишет: «Если в этой характеристике имя Наполеона заменить на имя Сталина, Гитлера, Троцкого, Пол-Пота или какое-нибудь другое из того же ряда диктаторов нашего века, произведя соответствующие замены биографических подробностей, нравственный смысл останется всё тем же — и в этом неопровержимая истинность толстовского представления роли “особенных людей”».

При таком взгляде на вещи кажущаяся обидная несправедливость Толстого в отношении Наполеона <...> становится несущественной, а безоговорочное осуждение этого исторического лица — выражением высшей правды, которая открывается только пророкам.

И в самом деле, не казались ли миллионам людей, мудрыми и прозорливыми, непобедимыми и даже добрыми такие “необыкновенные” люди, как австрийский ефрейтор, восстановивший Германию из самого жалкого состояния до повелительницы всей (или почти всей) Европы, а после того приведший её же к безоговорочной капитуляции, или недоучившийся семинарист, развязавший совместно с этим ефрейтором мировую войну, сколотивший было мировую коммунистическую империю, которая потом потерпела совершенный крах и развалилась как карточный домик? И какие художники писали с них портреты, сочиняли о них гимны, пьесы и романы! Какие учёные исследовали их труды!..» [Лесскис. С. 479—480]. Мне лично второе мнение кажется убедительнее.

СОВРЕМЕННОКИ ЧИТАЮТ «ВОЙНУ И МИР»

В январском номере *PВ* за 1863 год появилась повесть Толстого «Казачи»; писатель возвращался в литературу после четырёхлетнего молчания — с мая 1859 г., когда

в том же *PВ* Каткова была напечатана повесть «Семейное счастье», Толстой ничего не публиковал. П.В. Анненков и Е.Л. Марков (откликнувшийся на двухтомник Толстого, вышедший в 1864 г.) высоко оценили «Казакон», но критики «Северной пчелы» и «Библиотеки для чтения», «Времени» и «Отечественных записок» не приняли ни героя Толстого, ни тенденции повести²². Особенно резким было выступление «Современника» [1863. № 7]: А.Ф. Головачёв (секретарь редакции журнала) писал о нашем авторе так: «Однако граф Толстой всё-таки беллетрист хороший — его можно читать без скуки. Он хороший рассказчик и ловкий, хотя и поверхностный, наблюдатель, но он плохой мыслитель. Ему не следует браться за глубокие рассуждения, а тем более за решение вопросов о судьбах человечества. Он отличный учитель в школе²³ и отличный рассказчик того, что видел и слышал — если, впрочем, виденное и слышанное ему понравилось. Нам кажется, что лучше обойтись этим» [С. 54]. Не без иронии критик именуется Толстого «знаменитым художником старого покроя» [С. 51] и предрекает: «На этом <т.е. в новых общественных условиях. — Л.С.> и должно кончиться их [знаменитых художников прошлого времени] художественное поприще, потому что в жизни зады не повторяются» [С. 53].

А. Пятковский, критик того же «Современника», откликаясь на двухтомник 1864 г., берётся ни больше ни меньше как «подвести итог деятельности» Толстого [1865. № 4. С. 323; без подписи]. Итог таков: «Граф Толстой весьма плох в отвлечённых вопросах и попал тут не в свою колею» [С. 326]; он «поздненько» пытается «реставрировать старые картины» — в духе пушкинского «Кавказского пленника»; одним словом, «мы можем только пожалеть об извращённом мышлении автора» [С. 329].

Я привёл эти отзывы вовсе не ради забавы: русская критика 1860-х годов, многословная и догматичная во многих своих представителях, ещё выкажется в оценке «Войны и мира»; Толстой, ушедший в своё имение как

²² Подробнее см.: Гусев—1957. С. 605—619.

²³ А.Ф. Головачёв посетил яснополянскую школу, о чём написал в очерке «Тверь, 20 мая» [газ. «Наше время». 1860. 29 мая]; высоко оценил Толстого-педагога.

в крепость²⁴, начинает с наслаждением «работать, не имея в виду хлопающей или свистящей публики» [письмо к А.А. Толстой от 14 ноября 1865 г.].

И письма современников, и печатные отклики на книгу Толстого свидетельствовали об успехе. 17 декабря 1867 г. вышли три первых тома, тиражом 4800 каждый; 17 марта 1868 — четвёртый том; осенью 1868 — все четыре тома вышли вторым изданием. Пятый том вышел 24—25 февраля 1869 г. тиражом уже 9600 экземпляров; шестой — в декабре 1869 тоже двойным тиражом [*Ищук*—84. С. 80]²⁵. Л.Е. Баратынский 20 января 1868 г. просил П.И. Бартенева прислать четвёртую часть «Войны и мира» и сообщал, что «все отзываются о ней <книге Л. Толстого. — Л.С.> с большой похвалою, и читается она нарасхват» [*Летописи*—1948. С. 153], П.А. Вяземский, получив 4-й том, 16 марта 1868 г. сообщает тому же Бартеневу, что предыдущие тома «нарасхват» берут у него барыни и «иногда долго зачитывают» [*РГАЛИ*. Ф. 46. Оп. 1. Ед. 154. Л. 29; в *Летописи*—1948. С. 153 ошибочно приписано Л.Е. Баратынскому]. А.С. Суворин в газете «Русский инвалид» [1868. № 11. Журнальные и библиографические заметки. «Война и мир». Сочинение графа Л.Н. Толстого. 3 тома. Москва. 1868; подп. А. И-н] замечает, что три первых тома изданы «довольно опрятно, разгонистым, крупным шрифтом, как можно издавать только для детей и стариков. Томы, исключая первого, очень тонки», при этом «цена (7 р.), назначенная за роман, безобразно дорога»;

²⁴ Отлично об этом написано в книге Б.М. Эйхенбаума «Лев Толстой. Шестидесятые годы» [Л.; М., 1931].

²⁵ Чтобы читатель представил себе, много это или мало, привожу данные о тиражах нескольких книг 1860—1870-х годов: Очерки и рассказы Решетникова — 1200 экз.; *Гюго В.* Человек, который смеётся — 1200 экз.; Альбом, или Собрание песен, романсов и театральных куплетов. М., 1876 — 12 000 экз.; Басни Крылова. СПб., 1877 — 10 000 экз.; Бездна удовольствий. Книга для молодых людей (Стихи). М., 1873 — 12 000 экз.; Весельчак с новым шиком. М., 1876 — 1800 экз.; Ай да Ярославцы! Вот так народец! 6-е изд. СПб., 1878 — 6000 экз.; Англичанка между русскими и турками во время войны. М., 1878 — 6000 экз.; *Граф Л. Толстой.* Анна Каренина. Роман. М., 1878 — 6000 экз.; *Евстигнеев М.* Бешеные бабы, или Габер-суп. М., 1873 — 12 000 экз.; *Крестовский В.* Вне закона. СПб., 1876 — 1800 экз.; *Достоевский Ф.* Идиот. Роман. СПб., 1874 — 2000 экз.; *Достоевский Ф.* Подросток. Роман в 3-х ч. СПб., 1876 — 2400 экз.

впрочем, несмотря на «неприличную цену, роман расходуется быстро; он пошёл бы во сто раз лучше, если бы цена была соразмерна его объёму» [С. 3]. В газете «Голос» замечали, что книга «расходуется быстро, так что вскоре придётся приступить ко второму изданию. Желательно, чтобы цена этого второго издания была более доступна для небогатых классов, а то теперь очень многие жалуются на дороговизну этого романа» [1868. № 63. Прошлая неделя. С. 2].

Не стану выписывать сходные (и многочисленные) указания на успех книги; замечу лишь, что цена (её устанавливал сам автор)²⁶ возрастала: «Кто не подписался на сочинение при выходе первых трёх его томов, тот заплатит за него теперь уже не 7 р., как прежде, а 8; с выходом же в свет пятого тома <критик предполагал, что это будет последний том книги. — Л.С.> цена за всё издание будет ещё возвышена — до 10 рублей» [«Голос». 1868. № 83 — Библиография. «Война и мир», сочинение графа Л.Н. Толстого, том четвёртый. С. 1]. М.Ф. Де-Пуле в письме к П.И. Бартеневу объяснял успех Толстого: «Знаменательна громадная распродажа книги: независимо от талантности, большое и встревоженное общество нашло в ней покой, тот эпический покой, который так целительно действует на душевные раны» [*Летописи*—1948 С. 154].

Владимир Иванович Лыкошин родился в 1792 году и 19-ти лет вступил в военную службу; проделал всю кампанию 1812—1814 годов, брал Париж; 21 января 1868 года он писал своей сестре А.И. Колечицкой: «Не знаю, читала ли ты в *PВ* роман графа Толстого, 1865-го и 1866-го года, под названием “1805 год”; там были напечатаны две первые части. Теперь он напечатал отдельно четыре части, под названием “Война и мир”. Это великолепный памятник прошедшего! Как чудно схвачена обстановка того времени, как удачно выставлены типы high-life тогдашнего общества! Это только нам, немногим оставшимся свидетелям и деятелям той эпохи, до самой мелочи осязательно верно, как в зеркале, изображено; и как тонко схвачены оттенки петербургского и московского высшего

²⁶ Бартенев писал Вяземскому (18 декабря 1867 года): «Сумасшедшая цена, которую автор назначил, вероятно помешает распространению» [*РГАЛИ*. Ф. 195. Оп. 1. Ед. 1407. Л. 70—70 об.]

общества; даже фамилии прозрачно выставлены: князь Анатолий Курагин, княгиня Друбецкая, князь Андрей Болконский» [*Там же*. С. 153]. Через три недели, 12 февраля, ей же: «Ты спрашиваешь о некоторых личностях, выставленных гр. Толстым. Волконский — сын князя Григория Семёновича, которому при Павле не велено было выезжать из деревни, — известный тогдашнего времени чудак. Гр. Безухий должен быть Безбородко: я помню густо насланную соломой улицу перед его домом. Курагины, конечно, должны быть князя Куракины. А Мария Дмитриевна Афросимова — та выставлена en toutes lettres <буквально, полностью>; я как теперь вижу её грозную фигуру, которая так страшила молодёжь. Одним словом, это всё та же обстановка, все те же лица, которых мы встречали у Полуэхтовых, Грибоедовых, Татищевых, Акинфых, Лопухиных, Ушаковых et cet., все те же речи о comtesse Apraxine, M-me Korsakow. И как всё это в Москве изменилось после 12-го года» [*Там же*].

Как пишет М.В. Строганов, «Лыкошин и Колечицкая вошли в “Войну и мир” как в старую гостиную, они будто вернулись в своё детство, и поэтому подобное восприятие ими романа Толстого и понятно, и не вызывает чувства неловкости: оно не требует снисхождения» [*Строганов—2002* С. 108]. М.В. Юзефович, знакомец Пушкина и его корреспондент (родился в 1802 г.), отнёсся к «Войне и миру» как к документу и не принял «изображения времени»: «Я теперь обретаюсь, так сказать, в праздности и читаю, пользуясь свободой безделья, “Войну и мир”. Отдавая полную справедливость увлекательной занимательности рассказа, я, однако ж, далеко не нахожу той художественности, о которой прокричали так много. В изображении характеров есть много черт нетвёрдых, неясных и даже лишних. Художественной полноты и определённости нет ни в одном: il y a du trop et il manque le nécessaire <Есть лишнее, и не хватает необходимого>. В изображении времени есть неверности и даже грубые промахи. Так, например, в начале нынешнего века, когда ещё пудрились и чуть ли не играли ещё в рулетку, в доме одного из московских бар, у графа Ростова, на большом званом обеде мужчины перед обедом отправляются от дам в кабинет и обращают его в табачню! Я прожил

в Москве с 14 до 20 года, т.е. после французов, знал довольно много барских домов и ни в одном не помню, чтобы видел трубку. Знаю только, что никто из нас, мальчишек, посещавших общество, и не думал сметь курить. Даже военные держали особо платье, в котором являлись в общество, охраняя его от табачного дыма. А ведь эта одна черта представляет тогдашний *свет* в совершенно искажённом виде. Множество неверных и ненужных эпитетов, характеризующих побуждения и действия, как следствия бессилия автора составить себе полное и ясное представление об изображаемых им людях. Вспомните “Капитанскую дочку” Пушкина, “Героя нашего времени” Лермонтова, даже “Обыкновенную историю” Гончарова и “Отцов и детей” Тургенева и сравните с ними “Войну и мир”: не только с первыми, но сочинение гр. Толстого не может выдержать никакой художественной параллели даже с последними. Там во всём dokonченность, не оставляющая ничего ни для прибавки, ни для убавки, там люди, которых можно представить себе во всяком другом положении и угадать, как бы они в этом положении действовали; у гр. Толстого эти люди действуют так, что приходится часто недоумевать и останавливаться на вопросе: почему и для чего? Одним словом, главные недостатки его романа, по-моему, заключаются именно в художественной его стороне, вопреки общему мнению, которое доказывает только, что наша современность много утратила художественного чувства. Любопытно бы мне было поговорить об этом с кн. Вяземским и Тютчевым, людьми моего времени. Я почти уверен, что они думают, как я» [*Летописи—1948*. С. 155; письмо А.М. и П.А. Шульц 16 марта 1869 г.].

Комментируя эти отзывы, М.В. Строганов пишет, что «“Война и мир” воспринималась как произведение документального жанра, близкое к собственно мемуару» [*Строганов—2002*. С. 111]. Это, на первый взгляд, странное предположение (кто из читателей способен принять роман за мемуары?) подтверждается некоторыми критическими отзывами: так, в газете «Голос» «необыкновенное и неопределённое произведение графа Льва Толстого» вызвало такое недоумение: «Если это просто произведение творчества, то зачем же тут фамилии и знакомые многим ха-

рактеры? Если это записки или воспоминания, то зачем этому придана форма, подразумевающая творчество?» [1865. № 93. 3 апр. С. 1, 3. Вседневная жизнь; без подписи]. Это не единственный курьёз: В. Зайцев, во всём следовавший своему коллеге по журналу Д. Писареву, как это обычно бывает, доводивший чуть не до пародии принципы писаревской критики, презрительно перечислял содержание январской книжки *PВ*: «Здесь господин Иловайский пишет о *графе Сиверсе, граф Л.Н. Толстой* (на французском языке) *о князьях и княгинях Болконских, Друбецких, Курагиных, фрейлинах Шерер, виконтах Мортмар* <так! — Л.С.>, *графах и графинях Ростовых, Безухих, bâtard'ax Пьерах* и тому подобных именитых и великосветских лицах, Ф.Ф. Вигель вспоминает о *графах Прованских и Артуа, Орловых* и проч. и об *обер-архитекторах* <...>» [«Русское слово». 1865. № 2. С. 51]. Как видим, мемуары Вигеля, исторический очерк Иловайского и «1805 год» Толстого поставлены в один ряд — всё это написано об аристократах и потому не стóит — с точки зрения радикального демократа Зайцева — ни малейшего внимания.

В прессе леводемократической, радикальной ориентации успех толстовской книги признавали с неудовольствием, сквозь зубы — отвращали прежде всего два обстоятельства: во-первых, «1805 год» печатался у М. Каткова, имевшего репутацию крайне правого, охранительного журналиста, а во-вторых, герои Толстого — князья и графы. Так, в «Книжном вестнике» [1866. № 16—17; фактический редактор — Н.С. Курочкин] сказано, что «1805 год» «если и не возбуждает в читателях особенного сочувствия, то, по крайней мере, не претит»; «это не роман, не повесть, а скорее какая-то попытка военно-аристократической хроники прошедшего, местами занимательная, местами сухая и скучная». Анонимный критик не может понять, «для чего и зачем автор выставляет своих бледных Николашек, Наташенек, Мими и Борисов <заметьте, что кукла попала в один ряд с людьми. — Л.С.>, на которых невозможно сосредоточить внимания среди описаний военных действий». Далее замечено, что «фантомы аристократических лиц прежнего времени, за исключением князя Василия, княгини Друбецкой и старого Ростова, не уда-

лись автору»; Толстой осуждён за «смесь французского с великорусским» — читать так написанную книгу «не составляет никакого удобства и удовольствия» [С. 347].

«Иллюстрированная газета» (редактор В.Р. Зотов, сын автора романа «Леонид», «скромный боец за дело просвещения и прогресса», как он сам себя называл) констатировала: «в романе Толстого можно найти апологию сытого барства, ханжества, лицемерия и разврата» [1868. № 37. Библиография. «Война и мир». Роман Л. Толстого. СПб. <так! — Л.С.> 1868. 4 части; подп. М. М-нь. С. 190]. «Неумеренные восторги», вызванные «Войной и миром», «всем прожужжали уши» [С. 189] — между тем в книге Толстого рецензент видит множество недостатков. Во-первых, нет главного героя: если в «Отцах и детях» и в «Преступлении и наказании» персонажи группированы вокруг одного героя, то в «Войне и мире» «каждый сам по себе, каждый — главное лицо» [С. 190] (проницательное замечание); во-вторых, неудачна попытка создать положительных героев — если они не получились у самого Гоголя (имеется в виду II том «Мёртвых душ»), то «где же отыщет такие достолюбезные стороны талант небольшой?». В-третьих, критика не устраивает Наташа Ростова: «Представьте же себе, что у такой женщины семья будет, дети... Она станет тяготиться ими, станет считать их неизбежным злом, с которым уже делать нечего, но от которого всегда хорошо избавиться» [*Там же*]. Интересно, что сказал М. М-нь, дочитав «Войну и мир».

«Искра» резвилась всюду: Д.Д. Минаев, ведущий сотрудник этого еженедельника, на выход четвёртого тома «Войны и мира» откликнулся дважды: сначала статьёй в журнале «Дело», где писал: «Во всех уголках Петербурга, во всех сферах общества, даже там, где ничего не читалось, появились жёлтые книжки «Войны и мира» и читались положительно нарасхват. Пусть другие радуются, коли есть охота, но, в сущности, радоваться тут решительно нечему» [1868. № 4. С Невского берега. С. 202]²⁷. По мнению нашего критика, «в романе нет художественной правды нравов тогдашнего общества», «нет истории

²⁷ Статья подписана «Аноним» — так подписывал Д. Минаев свои материалы в журнале «Дело» (см. «Словарь псевдонимов» И.Ф. Масанова).

войны 1812 года» [С. 206]. Чем же объяснить успех книги? Просто толпа любит зрелища и романы вроде «Рославлева» Загоскина и «Леонида» Р. Зотова — полюбилась ей и «Война и мир». «Подобным сказкам найдётся везде место — и в большом учёно-литературном журнале, и в детском альманахе» [С. 207].

Чуть позже Минаев разразился большой стихотворной пародией «Война и мир. Подражание Лермонтову (“Бородино”) и графу Льву Толстому (“Война и мир”))» [«Искра». 1868. № 18]:

— Скажи-ка, дядя, без утайки,
Как из Москвы французов шайки,
Одетых в женские фуфайки,
Вы гнали на ходу.
Ведь если верить Льву Толстому,
Переходя от тома к тому
Его романа — никакому
Не подвергались мы погрому
В двенадцатом году.

.....
Войска французов шли в тумане.
Мы отступали... Ведь заране,
Как говорится в алкоране,
Наш рок определён.
Бояться ль нам Наполеона?
Что значат званья, оборона?..
Лежит над миром, как попона,
Лишь «власть стихийного закона»..
Так что Наполеон?

.....
Война свирепа, как Медуза;
Её описывать — обуза,
И здесь моя робеет муза...
Лишь видно было, как француза
Безухой князь душил...

Да, были люди в наши годы!..
И будут помнить все народы,
Что от одной дурной погоды,
Ниспосланной судьбой,
Пал Бонапарт, не вставши снова,
И пал от насморка пустого...
Не будь романа Льва Толстого,
Мы не судили б так толково
Про Бородинский бой!

Как написал И.Г. Ямпольский в статье «“Война и мир” Л. Толстого в пародиях и карикатурах», «пародия и карикатура характеризуют не только осмеянное произведение, но в ещё большей степени смеющегося над ним человека» [«Звезда», 1928. № 9. С. 93]. Точнее не скажешь. Добавлю только, что три первых месяца 1869 года из номера в номер «Искра» помещала карикатуры М. Знаменского, изображающие те или иные эпизоды «Войны и мира» — их можно увидеть в книге В. Шкловского 1928 года.

А.П. Пятковский после закрытия «Современника», где он заведовал журнальным обозрением, стал ближайшим сотрудником «Недели»²⁸ — именно в этом еженедельнике [1868. № 22, 23, 26] он напечатал статью «Историческая эпоха в романе гр. Л.Н. Толстого». Роману Толстого «как-то особенно повезло» «на безлюдье современной беллетристики» [№ 22. Стб. 698]. «Его покупают все нарасхват, не жалея при этом довольно крупных денег за аляповато напечатанные томы; читают, что называется, всасос; толкуют и спорят не просто с увлечением, но даже с каким-то запоем и сладострастием» [*Там же*]. Показателен тон, каким критик говорит о книге: сам успех её объясняется апатией публики: ей надоели «клубничные повести и старческое, злобное шипенье отживших литературных корифеев» [№ 22. Стб. 700]. Интерес к сюжету выглядит в изложении Пятковского таким образом: «Будет ли Анатоль Курагин после тяжёлой ампутации танцевать и прыгать на одной ноге или он закажет себе другую, деревянную — на манер той удивительной ноги с пружинкой, которая, по догадкам гоголевского почтмейстера, могла быть приделана коллежскому советнику Чичикову? Куда денется пресловутый дважды разжалованный Долохов и не выпьет ли он в кругу друзей второй бутылки рома, уже не на скользком уступе окна, а прямо таки на воздухе? Все эти вопросы и глубокомысленные соображения, вызываемые ими, сильно волнуют впечатлительные сердца многих читателей <...>» [№ 22. Стб. 699]. Философия автора «Войны и мира» (критик называет её «теорией исторического бессмыслия») «не стоила бы даже упомин-

²⁸ Как пишет В. Путинцев, «её фактическим редактором» [Герцен и Огарёв // Литературное наследство. М., 1953. Т. 61. Кн. I. С. 137].

нания» [№ 23. Стб. 716]: «гр. Толстой слышал звон, но не знает, где он» [№ 26. Стб. 817]; никакой народной войны, «о которой наговорили нам столько басен», не было — «за что стали бы сражаться эти народные массы, обделённые, по милости наших псевдопатриотов, первейшим благом гражданской жизни — личной свободой?» [№ 26. Стб. 822—824] Понятно, что богучаровский бунт — важнейшая для критика сцена, а Николай Ростов здесь «мгновенно превратился в разъярённого зверя» [№ 22. Стб. 704]²⁹.

На вопрос, отчего погибло войско Наполеона, Пятковский даёт ответ «вовсе не утешительный для нашей патриотической гордости». «Оно погибло всего менее от нашей храбрости и нашего единодушия, и всего более — от страшной опрометчивости самого Наполеона. Начни он войну двумя месяцами раньше и, к тому же, начни её не с севера, а с юга, как Карл XII или как Наполеон III, — и бог весть, в чьих бы руках находились теперь наши южные и юго-западные провинции. Тогда тридцатиградусный мороз не был бы нашим бескорыстным союзником, а вилы и топоры, пожалуй, и вовсе не поднялись бы на защиту отечества» [№ 26. С. 825]. В заключение критик объявляет неоконченное произведение длинным и скучным и так заканчивает свою статью: «Не поймав главной характерической черты александровского времени, не оценив значения важнейших исторических лиц, гр. Толстой, естественно, не мог сконцентрировать своего романа и разбросался в мелочах и деталях, не связанных никакою общею идеею. Он принялся описывать баталии, московские сплетни, салонные интриги и любовные приключения. Эпоха 12-го года заняла уже целый том, а читатель всё-таки не понимает, в чём дело. <...> Благодаря отсутствию всякого плана и всякой логической концепции между рассказываемыми событиями роман гр. Толстого можно разогнать не на четыре, а на двадцать четыре тома. Хватит ли только у публики терпения дожидаться

²⁹ А. Пятковский возражает на статью «Несколько слов по поводу книги “Война и мир”» — он считает, что варварства в начале века было более чем достаточно — и указывает на сцену экзекуции французского повара и на богучаровский бунт [«Неделя». 1868. № 22. С. 702]; для сторонника прогресса толстовское отрицание этого понятия было неприемлемо.

конца? А гр. Толстой, кажется, не намерен церемониться и, как слышно, написал уже пятый том. Конца же всё нет как нет» [№ 26. С. 828].

В.В. Берви-Флеровский учился вместе с Толстым в Казанском университете; его литературным дебютом стала повесть «В глуши» [«Современник». 1856. № 6], о которой Толстой писал Некрасову, что «такой дряни» не было никогда напечатано не только в «Современнике», но вообще «ни на русском, ни каком другом языке» [Письмо от 2 июля 1856]. С 1862 г. Берви-Флеровского преследуют аресты и ссылки — в 1868 г. из Вологды, куда он переведён из Томска по этапу, он посылает в журнал «Дело» статью «Изящный романист и его изящные критики» (напечатана в № 6 под псевдонимом С. Навалихин; раздел «Современное обозрение»; в дальнейшем указываю лишь номера страниц) — рецензию на «Войну и мир».

По мнению рецензента, «в массе общества имя Толстого едва помнили, и его неудачи в области его педагогических фантазий были более известны, чем его литературная деятельность» [С. 2]. Роман Толстого «представляет ряд возмутительно грязных сцен, которых смысл и значение явно не понимаются автором и которые поэтому равносильны ряду фальшивых нот. Он в таком умилении от своих героев, что ему кажется каждый их поступок, каждое их слово интересным: на этих страницах видишь уж не героев, а умиление самого автора, восхищающегося людьми, которых вид заставляет содрогаться от ужаса и негодования» [С. 23]. В «беспорядочной груде наваленного материала» действуют «изящные бушмены» (так критик называет персонажей Толстого), которых отличает «умственная окаменелость и нравственное безобразие» [С. 22]. «С начала до конца у г. Толстого восхваляются буйства, грубость и глупость. Читая военные сцены романа, постоянно кажется, что ограниченный, но речистый унтер-офицер рассказывает о своих впечатлениях в глухой и наивной деревне. Невозможно не чувствовать, однако же, что тут и рассказчик, и слушатели совсем другие, поэтому рассказ непрерывно больно и неловко задевает, как те фальшивые ноты, которые заставляют судорожно исказить лицо и скрежетать зубами» [С. 25—26]; и вообще, «роман смотрит на военное дело постоянно

так, как смотрят на него пьяные мародёры» [С. 27]. Источником резкой оценки книги ясен — это прежде всего социальная позиция писателя, как её понимает критик. Так, комментируя разговор князя Андрея и Пьера в начале второго тома (о крестьянине, которого не следует освобождать от крепостной зависимости, который привык к физическому тяжёлому труду), Берви пишет: «Что было бы с нами, если б все принялись так рассуждать, как рассуждает сиятельный герой графа Толстого? Этот несчастный герой так скудоумен, что даже неспособен понять, что уменьшение барщины не уменьшает труд крестьянина, а увеличивает его благосостояние, давая ему более свободного времени для работы на себя <...> Человек, который распоряжается жизнью и счастьем десятков тысяч рабочих сил и не в силах понять последствия и значения такого простого факта, как освобождение крестьянина от барщины, показывает ясно, что он не имеет ни малейшего понятия ни о своих обязанностях, ни о положении своём в обществе» [С. 8—9]. Более всего достаётся князю Андрею — у него, оказывается, «тряпичный ум» и «грязные инстинкты» [С. 12]; «из всего, что он говорит и делает у г. Толстого, видно, что это грязный, грубый, бездушный автомат, которому неизвестно ни одно истинно-человеческое чувство и стремление» [С. 15] — а вы говорите о «духовных исканиях» этого героя Толстого! Охота Ростовых? — Пожалуйста: «С каким-то омерзением читаешь восторженное описание псовой охоты, где люди млеют от страсти, глядя, как целые своры собак терзают одного зайца <...>» [С. 23]. Столь же «высокую» оценку получает и статья П.В. Анненкова в «Вестнике Европы», где о «Войне и мире» говорится с уважением и сочувствием: «Для них <Толстого и Анненкова. — Л.С.> всё то изяшно и гуманно, что знатно и богато, и эту внешнюю вылощенность они принимают за настоящее человеческое достоинство» [С. 15]. Что уж тут говорить о толстовском неприятии петербургского света, салонов Шерер и Элен Безуховой, семьи Курагиных и прочих петербургских трутней!

Об отношении Берви к Толстому и соответственно Толстого к своему казанскому товарищу отлично написано у Б. Эйхенбаума, к книге которого я и отсылаю читателя [*Эйхенбаум—1974*. С. 11—28].

«Когда явился в свет последний том романа “Война и мир”, то первые тома были почти забыты; по крайней мере, интерес, возбуждённый произведением Толстого в самом начале, под конец упал. Что это значит? Чем это объясняется? Это объясняется отсутствием глубоко жизненного содержания, которое одно может дать литературному произведению долговечность и постоянно возрастающий интерес во мнении критики и публики. Такого содержания нет у гр. Толстого» — так начиналась статья в журнале «Дело» [1870. № 1], под заглавием «Философия застоя» [Шелгунов. С. 336]. Статья направлена против «мудрости отставшего Каратаева» — против «азиатчины», отрицания разума, «мертвящего фатализма»; даже Пьер воспринимается Шелгуновым как «необузданный монгол». «Зачем его называть графом, зачем ему давать в воспитатели аббата, зачем его посылать на десять лет за границу? Сырая сила, сердечный порыв — вот основа характера Пьера. Его бродящая сила, вмещающаяся в теле Голиафа с умом страуса, конечно, не может прийти ни к каким европейским результатам. Но именно это-то и нужно гр. Толстому: иначе его философия, основанная на сырой, непосредственной силе, потеряет почву. Ему именно нужен фатализм Востока, а не разум Запада» [С. 341].

Европейский путь цивилизации, считает Шелгунов, отвергается Толстым — и это самый существенный недостаток его книги. «Философия безропотности, перешедшая от Каратаева к Пьеру, доказывает только то, что гр. Толстой почувствовал своё бессилие перед несокрушимостью подавляющих его обстоятельств и вздумал идеализировать именно это состояние и отдельных людей, и целого общества, которое в людях мысли вызывает совсем иные размышления и приводит их к совершенно иным выводам. Вся Россия пытается встать на новый путь. Освобождение крестьян, гласный суд, земство подсказывает нам, что наши попытки должны нас довести далеко-далеко от монгольской традиции <...> Источник любви привел самосозерцающего гр. Толстого к проповедованию того, что есть зло, несчастье и бедствие — к индифферентизму и индивидуализму» [С. 346—347].

По мнению критика, Толстой «убивает всякую мысль, всякую энергию, всякий порыв к активности и к созна-

тельному стремлению улучшить своё единичное положение и достигнуть своего единичного счастья» [С. 358]. «Ещё счастье, — замечает Шелгунов, — что гр. Толстой не обладает могучим талантом, что он живописец военных пейзажей и солдатских сцен. Если бы к слабой опытной мудрости гр. Толстого придать силу таланта Шекспира или даже Байрона, то, конечно, на земле не нашлось бы такого сильного проклятия, которое бы следовало на него обрушить» [С. 358]. «Мы не отрицаем в гр. Толстом таланта для описания солдатских сцен, но думаем, что мировая философия не его ума дело» [*Там же*]. Так критиковали «Войну и мир» слева. Но и справа книгу тоже не хвалили.

М.В. Строганов заметил, что «бытовое восприятие произведения, созданного на историческом материале, всегда является для основной массы читателей источником собственно исторических сведений» [*Строганов—2002. С. 104*]. Это особенно явно в тех случаях, когда читатель был непосредственным участником событий (добавим — в отличие от автора).

А.С. Норов пятнадцати лет (в 1810-м году) поступил юнкером в гвардейскую артиллерию; в Бородинском сражении командовал двумя пушками и был тяжело ранен — потерял ногу. В 1815 г. возвращается на службу, и в начале 1820-х годов Норов уже полковник, а в 1828-м, когда родился Толстой, Норов прикомандированный к адмиралу Д.Н. Синявину, совершал заграничное плавание. С апреля 1854 до марта 1858 года А.С. Норов — министр народного просвещения; 28 августа 1855-го И.И. Панаев писал Толстому, что в борьбе с цензором М.Н. Мусиным-Пушкиным за толстовские рассказы из Севастополя он обращался за поддержкой к Норову и Вяземскому (товарищу, т.е. заместителю министра): «Норов — человек образованный и горячий. Он любит литературу», говорится в этом письме [*Переписка. Т. I. С. 131*]. В Дневнике Толстого [запись 15 октября 1855 г.] отмечен планировавшийся визит к Норову (Толстой в Петербурге и всеми приглашаем), а во французском письме к тетушке Т.А. Ёргольской из Парижа [29 ноября/11 декабря 1860 г.] сообщается, что Норов вместе с несколькими русскими «составляют наш приятный интимный кружок». Словом, артиллеристы, гвардейский и армейский, принадлежащие к двум разным поколениям, знакомы

между собой — тем огорчительнее, по-видимому, для Норова было чтение IV тома (из шести) «Войны и мира».

Прежде всего оскорблено «патриотическое чувство» [Норов. С. 2; в дальнейшем указываются только номера страниц]: «В романе собраны только все скандальные анекдоты военного времени той эпохи», а «геройские эпизоды наших войн, даже несчастных» [Там же] оставлены без внимания (например, «славная битва Багратиона и Милорадовича под Амштетеном, где эти два суворовские генерала воодушевляли друг друга памятью Требии и Нови» [С. 5], или «блестящая для нас битва под Прейсиш-Эйлау» [С. 12]). Современный читатель, встречающий в любой книге или статье о «Войне и мире» утверждение патриотизма Толстого, не должен удивляться — ведь Норов не читал ни эпизода с Кутузовым, узнающим об оставлении французами Москвы, ни прямых рассуждений автора о народной войне, о роли Дохтурова и Коновницына, о смысле деятельности Кутузова в 1812 году...³⁰ А в том, что прочёл, умел видеть «в общем объёме вер-

³⁰ Впрочем, Пармен Семёнович Деменков, молодым поручиком участвовавший в войне 1812 года, читал полный текст книги, что не помешало ему увидеть в «Войне и мире» стремление «низвести славную для России эпоху на степень басни или сказки», «опошлить то, чем Россия по справедливости должна гордиться» [РА. 1911. № 11—12. Кн. 3. С. 388; статья «Заметка ветерана 1812 года» написана в 1876 году]. Патриотический пыл настолько застит глаза этому читателю, что слова князя Василия о Кутузове, по мнению Деменкова, приведены «с прямою целью умалить достоинство Кутузова» [С. 398], а известный пассаж о крестьянах Карпе и Влаसे понимается как упрёк им «за то, что они не везли сена французам, даже за хорошие деньги, а предпочитали жечь его» [С. 427]. Начало третьего (по современному делению) тома («Миллионы людей совершали друг, против друга такое бесчисленное количество злодеяний, обманов, измен, воровства, подделок и выпуска фальшивых ассигнаций, грабежей, поджогов и убийств, которого в целые века не соберёт летопись всех судов мира и на которые, в этот период времени, люди, совершавшие их, не смотрели как на преступления») вызывает возражение нашего автора: французы действительно совершали преступления, а русские — доблести [С. 390]. Одним словом, «Война и мир» — это «чистый пасквиль, стремящийся превратить славную эпоху в какую-то фабулу-сказку-легенду» [С. 455]; на следующей странице пафос Деменкова находит адекватное выражение: «И что может почерпнуть из этого сочинения, например, молодое русское поколение, которому предстоит обязательная воинская повинность?».

ную картину бородинской битвы» [С. 46] — правда, с серьёзной оговоркой.

Так как «Война и мир» «выводит на сцену деятелей исторических», следует «поставить его <роман> лицом к лицу с историею» [С. 3], что и делает Норов. Результат понятен. Не было и не могло быть такого салона, каков толстовский салон Шерер; Норов перечисляет самые известные дома петербургской аристократии и пишет: «Все эти дома отличались или тонкостию образования, или роскошью гостеприимства, и не думаю, чтобы в каком-либо из них называли Наполеона антихристом и тому подобное» [С. 3]. И «в хорошем обществе тогдашних гвардейских офицеров» совершенно невозможна «шалость», подобная истории с квартальным [С. 4]. Здесь видно зарождение одного по сей день бытующего недоразумения: и современники Толстого (вспомним известный отзыв Салтыкова-Щедрина: «А вот наше, так называемое “высшее общество” граф лихо прохватил» [Кузминская. С. 338]), и многие, писавшие о «Войне и мире» в последующие почти полтора века, видят в Курагиных, Шерер, Сперанском, Александре I, Аракчееве и многих других сатиру на сильных мира сего. Но Толстой вовсе не склонен осуждать аристократов и превозносить добродетели простого народа (в черновых рукописях нетрудно найти противоположные декларации): он иначе делит своих героев — на тех, кому доступно чувство настоящей, «живой» жизни, её глубины, и на тех, кому оно недоступно. И безденежный Борис Друбецкой вместе с «тёмным лифляндским дворянином» Бергом оказывается на том же полюсе неистинной жизни, что и сенатор Курагин, а наследница богатого имения княжна Марья Болконская, графиня Наташа Ростова и богач Безухов — вместе с дядюшкой Ростовых, его Анисьей, ловчим Данилой и крестьянином-солдатом Каратаевым.

13 октября А.С. Норов просил своего сотрудника А.В. Никитенко «пересмотреть и где нужно поправить его статью по поводу романа “Война и мир”»; Никитенко нашёл статью «любопытной» и, по-видимому, убедительной: он записал в Дневнике: «<...> какой бы великий художник вы ни были, каким великим философом вы себя ни мнили, а всё же нельзя безнаказанно презирать своё отечест-

во и лучшие страницы его славы» [Никитенко. С. 132]. Через год после смерти А.С. Норова Никитенко выпустил его биографию, в которой упомянул и о споре его с Толстым. «Его патриотическое сердце не могло снести равнодушно тех неправд и лёгкости, с какими автор “Войны и мира” отнёсся к некоторым эпизодам достопамятной эпохи XII года. Автор “Замечаний” <...> имел утешение видеть полное сочувствие к ним со стороны людей просвещённых и хорошо знающих события того времени» [Никитенко А.В. Авраам Сергеевич Норов. СПб., 1870. С. 37].

Ещё не получив IV тома (который, между тем, давно уже вышел), князь В. Баюшев (исправляю фамилию корреспондента по архивным источникам) из Симбирска пишет П.И. Бартеневу (20 ноября 1868 г.): «Что это так долго граф Толстой не выпускает своего 4 тома, хотя бы для того, чтобы показать, до какой степени может человек с таким блестящим дарованием, как у него, увлечься современным направлением отрицания всего славного-прошедшего и самоунижения» [Летописи—1948. С. 154]. Как видим, ещё один читатель записывает Толстого в отрицатели. Но вернёмся к Норову.

Поверяя историей художественный текст, Норов замечает, что «неурядица при переходе через Энс едва ли была такова», как это выглядит у Толстого. «Отрядом командовал полковник граф Орурк, в то время отличный авангардный офицер. Неужели это он в лице бестолкового немца, который не знал и не понимал, что горючие вещества, положенные под мост, были для того приготовлены, чтобы зажечь этот мост?» [С. 6]. Нам понятно, что Толстому был нужен именно бестолковый служака-немец, Карл Богданович Шуберт, каким он и изображён в нескольких сценах книги (впрочем, не лишённый привлекательных черт и, во всяком случае, пользовавшийся авторитетом у офицеров полка). Но упоминание настоящей фамилии павлоградского полковника вызвало письмо в редакцию «Военного сборника» — его написал граф Аполлоний О'Рурк, сын графа Иосифа Корнильевича, скончавшегося в 1849 году в чине генерала от кавалерии. Автор письма сообщает, что его фамилия ирландская (О'Рурк), что отец его имел множество военных заслуг, достойно оценённых начальством. Такое смещение — от персона-

жа к реальному лицу, уже даже не прототипу, вызвано было только тем, что переправа через Энс действительно произведена была Павлоградскими гусарами в 1805 году. Впрочем, убедить сына, что честь его отца никак не затронута в этом эпизоде книги, наверное, было бы нелегко [См. «Дополнение к статье “Война и мир” А. Норова». «Военный сборник». 1868. № 11 (Т. 64). Отд. III. Современное обозрение. Библиография].

«Сколько вдохновительных строк могли бы излиться из-под искусного пера графа Толстого, если б он описал присоединение оставшихся из четырёх тысяч двух тысяч героев Багратиона, <...> когда Кутузов, принимая в свои объятия Багратиона, воскликнул: “О потере не спрашиваю: ты жив, для меня довольно!”» [С. 11]. Конечно, критики и читатели всегда лучше знают, о чём и как нужно писать автору, но заметим при этом — могли ли Толстого вдохновить слова Кутузова? Мог ли он, заставший своего князя Андрея пристально вглядываться в капитана Тушина — именно этот «маленький, грязный худой» артиллерийский офицер без сапог и был истинным героем Шёнграбенского дела, — мог ли Толстой так легко, как реальный (а не книжный) Кутузов, отнестись к потере двух тысяч человек?

Толстой, по мнению Норова, принижает Багратиона, так как Багратион не заметил Тушина (на него указал генералу Болконский) и... потому что у Болконского был план предстоящего сражения. Сегодняшнему школьнику понятно, что Болконскому по воле автора нужно р а з о - ч а р о в а т ь с я в действительности любых планов, а наш ветеран пишет: «<...> этим как бы намекается, что таким-то образом <то есть по плану князя Андрея. — Л.С.> следовало бы действовать, если б он был тут главнокомандующим, а не князь Багратион» [С. 11]. Вообще обидно, что «князь Болконский гораздо умнее и Кутузова, и Багратиона, и всех наших генералов» [С. 5].

Читатель помнит, наверное, что Толстой, перечисляя направления и партии в главной квартире армии, упоминает «четвёртое направление, которого самым видным представителем был великий князь, наследник цесаревич» — сторонники этой партии (среди которых автор называет канцлера графа Румянцева) хотели заключить

мир с Наполеоном. Так вот, по мнению А.С. Норова, такой партии «вовсе не существовало» [С. 13] — потому что не могло существовать: это противно патриотической идее. Между тем Ж. де Местр, чьи письма Толстой внимательно читал, сообщал (в письме от 2—3 сентября 1812 г.), что великий князь «везде говорит, что <...> дела идут хуже некуда и надобно решаться на мир»; в том же письме упоминается и канцлер: «он и великий князь <...> продолжают настаивать на заключении мира» [*Де Местр*. С. 219, 221].

Следующий эпизод, вызвавший негодование А.С. Норова, — разговор офицеров о подвиге Раевского в бою у Салтановской плотины. Толстой, конечно, читал описание этого «тёплого подвига патриотизма» [*Норов*. С. 15] у *Данилевского*: «“Дайте мне нести знамя!” — сказал один из сыновей Раевского ровеснику своему, шестнадцатилетнему подпрапорщику. “Я сам умею умирать!” — отвечал юноша» [*Данилевский—1839*. Ч. I. С. 333—334]; этот диалог цитирует И.П. Липранди и добавляет: «Как же было умолчать в Отечественной войне о подвиге, объясняющем великие свойства русского. Вельможа-отец, сопровождаемый двумя единственными, несовершеннолетними ещё сыновьями своими, под градом ядер, гранат, картечи и пуль — и в эту минуту сын его требует нести знамя? Ответ подпрапорщика столь же велик» [*Липранди—1867а*. С. 165; «Бородинское сражение. Заключение с некоторыми примечаниями на историю этой войны, соч. г.-м. Богдановича»]. В некрологе Раевского (перепечатан у *Давыдова—1832*) дело при Салтановке не упоминается; Давыдов в своих замечаниях пишет: «<...> следуемый двумя отроками-сынами, впереди колонн своих ударил в штыки по Салтановской плотине» [*Давыдов—1832*. С. 23].

Повторю — всё это Толстой знал. Напомню, как происходит разговор: «офицер с двойными усами, Здржинский <польская фамилия неслучайна: у Толстого патриотизм громко выказывают, как правило, нерусские. — Л.С.>, рассказывал на пыщенно о том, как Салтановская плотина была Фермопилами русских <...>» — это стиль, невозможный для Толстого, автора военных рассказов. Ростов, который это слышал, «стыдился того, что ему рассказывают», понимал, что этот поступок не имеет

ни военного, ни морального смысла («зачем тут, на войне, мешать своих детей?»), но Ростов знал, «что этот рассказ содействовал к прославлению нашего оружия, и поэтому надо было делать вид, что не сомневаешься в нём» [Т. 3. Ч. 1. Гл. XII]. Норову представляются «цинически» размышления Ростова — между тем они настолько свойственны толстовскому опытному офицеру, что нетрудно было бы привести ещё несколько примеров подобных размышлений героев Толстого. Интересно, что К.Н. Батюшков, служивший в 1813 году адъютантом у Раевского, записал слова Раевского, отрицавшего этот случай: «<...> весь анекдот сочинён в Петербурге» [*Батюшков К.Н. Сочинения. СПб., 1885. Т. 2. С. 328*]; знал ли Толстой эти записи или нет — не столь важно: Ростов сомневается в нужности, осмысленности, моральной оправданности этого исключительного поступка; характерно, что о подвиге Раевского пишет Жюли Карагина (обратите внимание на её язык): «Вы слышали, верно, о героическом подвиге Раевского, обнявшего двух сыновей и сказавшего: “Погибну с ними, но не поколеблемся!”». И действительно, хотя неприятель был вдвое сильнее нас, мы не колебнулись» [Т. 3. Ч. 2. Гл. II]. В том же письме Жюли упоминает французский язык, «который я не могу слышать говорить», и по-русски пишет так: «Мы в Москве все восторжены через энтузиазм к нашему обожаемому императору».

«Можно ли читать без глубокого чувства оскорбления не только нам, знавшим Багратиона, да и тем, которые знают его геройский характер по истории, то, что позволил себе написать о нём граф Толстой?» — спрашивает Норов [*Норов. С. 17*]. Речь идёт о нежелании Багратиона «присоединиться к Барклаю, чтобы не стать под его команду» [Т. 3. Ч. 2. Гл. I]. Логика Норова проста и, добавлю, бессмертна для большинства читателей всех времён и, наверное, народов. Багратион — настоящий герой; он не может в ущерб делу избегать соединения армий, так как ему не могут быть свойственны низкие побуждения. А ведь Норов читал, по-видимому, толстовскую статью «Несколько слов по поводу книги “Война и мир”», где сказано: «Кутузов не всегда с зрительной трубкой, указывая на врагов, ехал на белой лошади. Растоп-

чин не всегда с факелом зажигал Воронцовский дом (он даже никогда этого не делал), и императрица Мария Федоровна не всегда стояла в горностаевой мантии, опершись рукой на свод законов; а такими их представляет себе народное воображение.

Для историка, в смысле содействия, оказанного лицом какой-нибудь одной цели, есть герои; для художника, в смысле ответственности этого лица всем сторонам жизни, не может и не должно быть героев, а должны быть люди». Толстовский Кутузов дряхл, хитёр, сластолюбив и т.п. — при этом он, по мнению писателя, велик. Багратион у Толстого интригует против Барклая, пишет доносительные письма Аракчееву, зная, что их прочтёт царь, хочет вести наступательную войну — по-видимому, самоубийственную для России, но он значителен — и Толстой умеет это показать в Шёнграбенском сражении. Нам, сегодняшним читателям Толстого, не может не показаться наивным пафос А.С. Норова: «Какие вдохновенные картины для пера писателя и для кисти художника представляют нам даже официальные репортажи о геройских битвах под стенами Смоленска: Раевского, Дохтурова, Паскевича, Неверовского, этих Аяксов, Ахиллесов, Диомедов, Гекторов нашей армии <...>» [С. 20] — для Толстого нет Ахиллесов и Гекторов, а есть люди.

Толстой задел Норова и тем, как изобразил «наших дворян, купечество и наших крестьян» — это «Панургово стадо, где по мановению Ростопчина плешивые вельможи-старики и беззубые сенаторы, проводившие жизнь с шутами и за бостоном, поддакивали и подписывали всё, что им укажут» [С. 23]. Норов пишет: «Ещё остались дети тех плешивых стариков-вельмож и беззубых сенаторов, которые также теперь беззубые и плешивые, но которые помнят, как их отцы и матери посылали их ещё юношами одного на смену другого, когда первый возвращался на костылях или совсем не возвращался, положив свои кости на поле битвы, и как их отцы, хотя плешивые, но помнившие Румянцева и Суворова, сами становились в главе ополчений» [С. 23]. Умный, пронизательный, но консервативный в своих читательских вкусах ветеран никак не может принять толстовского принципа изображения человека: по Толстому, московская барыня «с своими

арапами и шутихами», уезжавшая из Москвы, Ростов, думавший о том, что ему года через два немудрено получить полк, — словом, все люди, которые «не обращали никакого внимания на общий ход дел, а руководились только личными интересами настоящего», были «самыми полезными деятелями того времени» [Т. 4. Ч. 1. Гл. IV]. А нам (и Норову в том числе) представляется, что «все русские люди от мала до велика были заняты только тем, чтобы жертвовать собою, спасти отечество или плакать над его погибелью» [Там же]. И Толстой показывает, что личные интересы его героев вовсе не умаляют их значительности; это и было одним из открытий писателя, не понятых и не принятых многими читателями.

Ещё более серьёзная претензия Норова — к исторической философии Толстого, к тому, как писатель изображает ход войны. «Главы 33, 34 и 35 романа графа Толстого представляют в общем объёме верную картину Бородинской битвы, но эта картина без действующих лиц (ибо, конечно, гг. Безухов и Болконский не суть таковые); у него всё делается *невидимою силою, силою случая*, что едва ли согласно с тем высоким назначением, которое дано Богом человеку в здешнем мире. Если нет деятелей, то нет и истории: все доблести тонут в пучине забвения, и всякое одушевление подражать этим доблестям исчезает» [С. 46]. Иными словами, нет военачальников, которые бы приказывали, вели вперёд (читатель помнит, как саркастически пишет Толстой о Ермолове, который приписывал себе атаку на батарею Раевского). Но и сам А. Норов, вспоминая эпизоды Бородинского сражения, писал: «Я видел подскавшего к командиру нашей 2-й роты капитану Гогелю офицера Генерального штаба, за которым мы и последовали по направлению к левому флангу. Это было единственное приказание, которое мы получили, и впоследствии действовали уже как знали и умели» [С. 37]. Об этом и идёт речь у Толстого: в сражении нельзя действовать по диспозиции, по плану, и исполняются лишь те приказания, которые могут быть исполнены.

И последний сюжет, связанный со статьёй А. Норова. «Граф Толстой рассказывает нам, как князь Кутузов, принимая в Царёве-Займище армию, был более занят чтением романа Жанлис “Les Chevaliers du Cygne”, чем докладом

дежурного генерала. И есть ли какое вероятие, чтобы Кутузов, <...> видя перед собою все армии Наполеона и находясь накануне решительной, ужасной битвы, имел бы время не только читать, но и думать о романе г-жи Жанлис, с которым он попал в роман графа Толстого?!» [С. 25]

Г.П. Данилевский, автор исторических романов (в частности, романа «Сожжённая Москва», 1886), знакомый с Толстым, читал статью Норова ещё до публикации и обсуждал её с автором. На возражение Данилевского о возможности такого чтения у Кутузова («хотя бы для виду») Норов отвечал: «До Бородина и после него мы все, от Кутузова до последнего подпоручика артиллерии, каким был я, горели одним высоким и священным огнём любви к отечеству, смотрели на своё призвание как на некое священнодействие, и я не знаю, как бы приняли товарищи такого из нас господина, который бы в числе своих вещей имел книгу для лёгкого чтения, да ещё французскую, вроде романов м-м Жанлис!». Далее Данилевский сообщает, что после смерти Норова в его библиотеке была обнаружена французская книжка («Похождения Родерика Рандома»), на обёртке переплёта которой была собственноручная надпись Норова на французском языке: «Читал в Москве раненый и попавший военнопленным к французам, в сентябре 1812 года».

Данилевский комментирует этот сюжет так: «То, что было с подпоручиком артиллерии в сентябре 1812 года, забылось маститым сановником через сорок шесть лет, в сентябре 1867 года, потому что не подходило под понятие, составленное им впоследствии об эпохе 1812 года» [Г. Данилевский. С. 333—334].

С П.А. Вяземским Толстой тоже был знаком лично: 25 февраля 1856 года читал у него повесть «Метель», а в октябре 1857-го писатели встретились в Москве на вечере у Сушковых. 25 августа 1812 года Вяземский в синем казацком мундире Мамоновского (ополченского) полка и в кивере в качестве адъютанта Милорадовича прибыл в Можайск, а оттуда — на Бородинское поле. Толстой знал, что Вяземский был на Бородинском поле в день сражения — об этом писала М.А. Волкова: «Сей последний возымел дерзкую отвагу участвовать в качестве зрителя в Бородинском сражении. Под ним убили двух лошадей,

и сам он не раз рисковал быть убитым, потому что Валуев пал возле него. По окончании сражения он вернулся в Москву. Не слышав никогда пистолетного выстрела, он затесался в такое адское дело, которому, как все говорят, не было подобного» [Письмо от 11 ноября 1812 г. // Вестник Европы. 1874. № 8. С. 605—606]. В РА за 1866 год были напечатаны письма к Вяземскому 1812 года (с его комментариями) — в том числе письмо Карла Юнкера, адъютанта Милорадовича, от 7 декабря 1812-го: «Вы кавалер ордена св. Владимира 4-й степени, который вам назначен за Бородинский день», — сообщал К. Юнкер [РА. 1866. Стб. 228]. А. Гулин, перечисляя «точки пересечения» «Войны и мира» с рассказом Вяземского (встреча с транспортом раненных в Шевардинском бою, убитая лошадь — боевое крещение, известие о том, что у знакомого адъютанта оторвало руку — см. комментарий к гл. XXXI 2-й части III тома), предполагает, что Толстому подробности «бородинского ратоборства» князя стали известны через П. Бартенева, корреспондента и собеседника обоих литераторов [Гулин—2002. С. 42].

7 сентября 1868 года Вяземский читал Никитенко «свои замечания на роман графа Толстого “Война и мир”. Умные замечания» [Никитенко. С. 130]; в январском номере РА за 1869 г. эти замечания были напечатаны.

Вяземский пишет: «С приезда государя в Москву война приняла характер войны народной» [Вяземский. С. 278; далее указаны только номера страниц]. Именно сцены, связанные с пребыванием Александра I в Москве, вызвали наибольшее неприятие мемуариста. «С историей надлежит обращаться добросовестно, почтительно и с любовью», пишет автор «Воспоминания о 1812 годе» [С. 282], а в «Войне и мире» он увидел лишь «отрицание и унижение истории» [С. 280]; людям с талантом пора «возвысить общий уровень умозрения и творчества» — а Толстой, следуя Гоголю, решил «гоняться за Ильями Андреичами, за Безухими и за старичками-вельможами, у которых в такую минуту, когда дело или, по крайней мере, слово шло о спасении отечества, одно выражалось в них — что *им очень жарко*» [С. 282—283]. Как и Норова, Вяземского оскорбляет изображение московских дворян, собравшихся в Слободском дворце, «стариками подслеповаты-

ми, беззубыми, плешивыми, оплывшими жёлтым жиром или сморщенными, худыми»; «можно, пожалуй, если есть недостаток в сочувствии, не преклоняться перед ними, не помнить их заслуг и блестящего времени; но, во всяком случае, можно и должно, по крайней мере из благоприличия, оставлять их в покое» [С. 284]. Автор готов признать, что «могли быть Фамусовы и в Москве 1812 года»; но ведь «были и не одни Фамусовы. А в книге “Война и мир” всё это собрание состоит из лиц подобного калибра» [С. 284]. Не будем распространяться о том, что для стареющего Вяземского литература 1860-х годов представляла падение вкуса и таланта в сравнении с пушкинской эпохой; интереснее другое: мы вновь встречаемся с восприятием «Войны и мира» как обличительного произведения, что, нужно отметить, вызвало недоумение у других критиков. Так, М.Ф. Де-Пуле писал, что «историческое мирозерцание Толстого (а следовательно, и выходящий из него патриотизм) принадлежит к карамзинской, так хорошо знакомой князю <Вяземскому. — Л.С.> школе; по крайней мере, оно во всяком случае бесконечно шире воззрений писателей псевдопатриотических, прежних и современных, от Н.В. Кукольника до г. Всеволода Крестовского включительно! Странно, наконец, что князь Вяземский, сам маститый поэт и литератор, друг Пушкина и Гоголя, позабывает, что писатели, подобные Тургеневу, Гончарову и Толстому, суть выразители не отрицательного, а положительного направления, о котором так искренно толковал Гоголь!» [Де-Пуле. С. 330]³¹.

«Есть доля пошлости в натуре человека: не спорим, — пишет Вяземский. — Нет великого человека для камердинера его, говорят французы: и это правда. Но писатель не камердинер» [С. 282]. Речь идёт не о том, были и не были присущи слабости историческим лицам, выве-

³¹ Через восемь лет в письме к П.И. Бартеневу М.Ф. Де-Пуле признавался: «Я большой поклонник гр. Льва Толстого. Нападки на него за “Войну и мир” меня вызвали на защиту его. Я напечатал в “Петербургских ведомостях” (1869) заметку, где, между прочим, задел и кн. Вяземского (о чём потом жалел) <...> Понятно, благоволить ко мне он не может, хотя я с удовольствием готов был перед ним извиниться и повинююсь, — если вы найдёте удобным сообщить ему эти слова...» [Летописи—1948. С. 157].

денным Толстым, а о том, прав или нет автор, показывающая их. «Презрение есть часто лживый признак силы. Оно иногда просто доказывает одно непонимание того, что выше и чище нас» [С. 282]. Кажется, точнее всех ответил Вяземскому Страхов (не называя своего оппонента): «В каждом лице автор изображает все стороны душевной жизни — от животных поползновений до той искры героизма, которая часто таится в самых малых и извращённых душах.

Но да не подумает кто-нибудь, что художник таким образом хотел унижить героические лица и действия, разоблачив их мнимое величие, напротив, вся цель его заключалась в том, чтобы только показать их в настоящем свете и, следовательно, скорее научить нас видеть их там, где мы их прежде не умели видеть. Человеческие слабости не должны заслонять от нас человеческих достоинств. Другими словами — поэт учит своих читателей проникать в ту поэзию, которая скрыта в действительности» [*Страхов I*. С. 210].

Наибольшее неприятие вызвала у Вяземского сцена с бисквитами. «А в каком виде представлен император Александр в те дни, когда он появился среди народа своего и вызвал его ополчиться на смертную борьбу с могущественным и счастливым неприятелем? Автор выводит его перед народ — глазам своим не веришь, читая это — с “бисквитом, который он доедал”. — “Обломок бисквита, довольно большой, который держал государь в руке, отломившись, упал на землю. Кучер в поддёвке (заметьте, какая точность во всех подробностях) поднял его. Толпа бросилась к кучеру отбивать у него бисквит. Государь подметил это и (вероятно, желая позабавиться?) велел подать себе тарелку с бисквитами и стал кидать их с балкона”...

Если отнести эту сцену к истории, то можно сказать утвердительно, что это басня; если отнести её к вымыслам, то можно сказать, что тут ещё более исторической неверности и несообразности. Этот рассказ изобличает совершенное незнание личности Александра I. Он был так размерен, расчётлив во всех своих действиях и малейших движениях; так опасался всего, что могло показаться смешным или неловким; так был во всем обдуман, чинен,

представителен, оглядлив до мелочи и щепетливости, что, вероятно, он скорее бросился бы в воду, нежели бы решился показаться пред народом, и ещё в такие торжественные и знаменательные дни, доедающим бисквит. Мало того: он ещё забавляется киданьем с балкона Кремлёвского дворца бисквитов в народ, — точь в точь как в праздничный день старосветский помещик кидает на драку пряники деревенским мальчишкам! Это опять карикатура, во всяком случае совершенно неуместная и несогласная с истиной. А и сама карикатура — остроумная и художественная — должна быть правдоподобна. Достоинство истории и достоинство народного чувства, в самом пылу сильнейшего его возбуждения и напряжения, ничего подобного допускать не могут. История и разумные условия вымысла тут равно нарушены...

Не идем далее: довольно и этой выписки, чтобы вполне выразить мнение наше» [С. 284—285].

Как писал Шкловский, «в раздражении Вяземского есть какое-то ощущение оскорблённого хорошего тона» [*Шкловский—1928*. С. 46] — вспомним пословицу о камердинере. Кроме того, Вяземский отрицает саму возможность подобной сцены. Толстой посылает Бартеневу (6 февраля 1869) «объяснение», которое просит напечатать: «В напечатанном в... № Р.А. мною объяснении на книгу “Война и мир” было сказано, что везде, где в книге моей действуют и говорят исторические лица, я не выдумывал, а пользовался известными материалами. Князь Вяземский в № Р.А. обвиняет меня в клевете на характер императора Александра и в несправедливости моего показания. Анекдот о бросании бисквитов народу почерпнут мною из книги Глинки, посвящённой государю императору, страница такая-то». В середине (10—15?) февраля отправлено ещё одно письмо: «Пётр Иванович! Сделайте милость, напечатайте в Р.А. мою заметку. Мне необходимо это. Ежели вы не нашли того места, то только потому, что не брали в руки “Записки” Глинки, посвящённые (кажется, государю) 1-го ратника ополчения. Пожалуйста. Найдите и напечатайте. У меня на беду и досаду пропала моя книга *Глинки*. И напечатайте поскорее, чтобы вышло вместе с 5-м томом. <...> В №... князь Вяземский, не указывая, на основании каких матерьялов или сообра-

жений, сомневается в справедливости описанного мною случая о бросании государем бисквитов народу. Случай этот описан *там-то* так-то. Пожалуйста, любезный Пётр Иванович, потрудитесь взглянуть в книгу эту и напечатайте это. Очень меня обяжете. Ваш Л. Толстой». В книге С. Глинки подобного эпизода нет (см. комментарий к главе XXI первой части третьего тома).

Этот сюжет вызвал любопытную переписку между Вяземским и Бартевым. Оба высоко оценили статью Норова — Вяземский писал 10 ноября 1868 года из Царского Села: «Сейчас прочитал я в “Военном сборнике” за ноябрь статью Норова. Она очень живо и тепло написана. Кажется, с разрешения “Военного сборника” могли бы Вы её у себя перепечатать, а у Норова выпросил бы я на это согласие» [РГАЛИ. Ф. 46. Оп. 1. Ед. 153. Л. 8]. Бартев отвечал 19 ноября: «От статьи Норова не поздоровится графу Толстому (забравшемуся в деревню и не подвигающему 5-го тома, хотя книгопродавец Соловьёв уже выпустил 2-е издание первых четырёх томов). Статья Абрама Сергеевича очень любопытна; но объём её таков, что мне нечего и думать о её перепечатке, которая была бы неприятна и “Военному сборнику”, имеющему очень немного подобных живых рассказов» [РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. 1407. Л. 71]. На следующий день, прочитав «Воспоминания о 1812 году», издатель РА пишет: «Превосходно! Не жалею, что статья Норова не у меня, вознаграждённый Вашею. Поделом графу Толстому! Но любопытно, что “Искра” и другие петербургские издания обвиняют его в идеализме!» [Там же. Л. 72].

Получив февральские письма Толстого, Бартев пишет Вяземскому (21 февраля 1869): «Гр. Толстой уверен, будто о бисквитах он читал где-то в сочинениях С.Н. Глинки, и требует, чтоб я напечатал об этом заметку, но так как он не присылает указание, где именно это вычитал, то заметки его приобщаются пока к бесчисленному ряду отлагаемых в сторону бумаг [Там же. Л. 89об.]. Вяземский отвечает (1 марта 1869 года): «Пришлите мне возражение Толстого по бисквитному вопросу или укажите, где его отыскать. Я никаких русских журналов ни газет не читаю и не получаю кроме “Петербургских ведомостей” и Вашего “Архива”. Укажите также и на полное

заглавие сочинений Глинки, на которые Толстой ссылается» [Ф. 46. Оп. 1. Ед. 561. Л. 171]. Это письмо, очевидно, разминулось в дороге с бартеневским от 27 февраля 1869 года: «Приехавший сюда гр. Лев Толстой действительно отыскал в книге “Воспоминания очевидца о Москве 1812 г.” (М., 1862) рассказ о том, как император Александр Павлович раздавал на балконе Кремлёвского дворца фрукты теснившемуся народу. На основании этой находки своей он написал возражение на Ваши строки об его книге, 5-й том которой вчера наконец свалился долой с корректурных рук моих» [Ф. 195. Оп. 1. Ед. 1407. Л. 92]. А 2 марта Бартенев, посылая Вяземскому пятый том «Войны и мира», сообщает: «Гр. Толстой настаивает давно, чтоб я напечатал возражение против Вашей статьи. Я не отказывался, но ставил условием, чтобы указан был источник показания о бисквитях (из-за этого была целая переписка). Приехав сюда, он читал мне новое возражение, в котором утверждается, что бисквиты и фрукты одно и то же. Я опять не отказывался напечатать, но не иначе, как с моим примечанием и с тем, чтобы я предварительно показал статью Вам. Решено было, что он мне её отдаст, переписав. Теперь слышу, что он уже уехал назад в деревню. Этот человек, вследствие своего пламенного воображения, совсем разучился отличать то, что он читал, от того, что ему представилось. Тем не менее 5-й том, ныне к Вашему сиятельству посылаемый, содержит в себе вещи истинно художественные» [Там же. Л. 94—94об.]³².

Толстого от Вяземского защищал не только Де-Пуле. В. Буренин писал: «Нельзя не заметить, читая наставления князя Вяземского автору “Войны и мира”, что вообще притязания патриотов минувших дней довольно странны. Например, князь охотно дозволяет себе описывать в слабых стихах бородинские сражения <так! — име-

³² Печатаемая после смерти Толстого статья П.С. Деменкова, Бартенев во вступительной заметке скажет: «Дело в том, что граф Толстой вовсе не изучал историю великой эпохи, как и вообще он не давал себе труда усидчивой, постоянной работы: можно сказать, что он постоянно захлёбывался воображением. Но в то же время ему захотелось низвести до пошлости личные подвиги тогдашних деятелей <...>» [РА. 1911. № 11—12. Кн. 3. С. 385].

ется в виду стихотворение “Поминки по Бородинской битве”³³, напечатанное в *РА* за 1869. — *Л.С.*> и, между тем, графу Толстому запрещает изображать его в хорошей прозе». «Князю Вяземскому не нравится, что граф Толстой изобразил в своём романе обыкновенных людей, а не героев с характерами возвышенными и благородными» [«Санкт-петербургские ведомости». 1869. № 18. Журналистика. С. 2].

Но и противников было немало. Так, А.К. Толстой в письме к Б.М. Маркевичу от 26 марта 1869 г. откликнулся на V том «Войны и мира»: «Я в ней <книге. — *Л.С.*> вижу предвзятое стремление доказать, что все, начиная от Наполеона и кончая офицером без сапог <Тушиным. — *Л.С.*>, все без исключения действуют как сомнамбулы, не зная, ни куда они идут, ни чего хотят. Это особенно заметно в эпизоде с Ростопчиным и Верещагиным. Одно из двух — либо Ростопчин хотел нагнать страху и отдал изменника на растерзание народу, либо он принёс в жертву человека, чтобы спастись самому. Ничего этого, однако, нет у Толстого. Ростопчин отдаёт Верещагина на растерзание, *потому что не в духе*. Это уж слишком, здравого смысла тут вовсе нет. Бедный Толстой так боится всего великого, что прямо предпочитает ему смешное» [*А.К. Толстой*. С. 271—272].

Тургенев писал Фету (15/27 июня 1866 г.): «Роман Толстого плох не потому, что он также заразился “рассудительством”: этой беды ему бояться нечего; он плох потому, что автор ничего не изучил, ничего не знает и под именем Кутузова и Багратиона выводит нам каких-то рабски списанных, современных генеральчиков». В этом отзыве отчётливо слышится презрение кандидата философии к недоучившемуся студенту, европейского писателя к троглодиту — так прозвали Толстого в кругу петербургских литераторов. А в письме к П.В. Анненкову (14/26 февраля 1868 г.), признав, что в романе «есть целые десятки страниц сплошь удивительных, первоклассных», есть «вещи, которых кроме Толстого никому в целой Ев-

³³ Там есть такие, например, строки: «И Кутузов предо мною, / Вспомню ль о Бородине, / Он и в белой был фуражке, / И на белом был коне».

ропе не написать и которые возбудили» в Тургеневе «озноб и жар восторга», он всё же называет «историческую прибавку» «кукольной комедией и шарлатанством» (в тех же примерно выражениях Тургенев отзывается о «Войне и мире» в письме к И.П. Борису от 27 февраля 1868 г.). В ожидании пятого тома Тургенев пишет И.П. Борису (12/24 февраля 1869 г.): «При всех своих слабостях и чудачествах, при всём даже своём вранье, Толстой — настоящий гигант между остальной литературной братьей — и производит на меня впечатление слона в зверинце: нескладно, даже нелепо — но огромно — и как умно!».

Пётр Карлович Щебальский, офицер-артиллерист (как Толстой и Норов), служил в гвардейской артиллерии; в 1842 году, когда Толстому было столько лет, сколько герою его «Отрочества», Щебальский за участие в дуэли был разжалован в канониры, но за военные подвиги на Кавказе восстановлен в прежнем чине и возвращён в гвардию. 20 октября 1857 года Толстой и Щебальский виделись на вечере у Сушковых (на том самом, где был и П.А. Вяземский). Ко времени толстовской работы над «Войной и миром» Щебальский выпустил несколько исторических сочинений, имевших успех и немалые тиражи: «Чтения из русской истории с конца XVII века», «Начало Руси», «Дело о курляндском герцоге Эрнесте-Иоанне Бироне», «Рассказы о Западной Руси», «Русская политика и русская партия в Польше до Екатерины II», «Начало и характер Пугачёвщины». 20 июня 1867-го Толстой пишет жене, что намерен «прочесть несколько глав исторических Погодину, Соболевскому, Самарину, Щебальскому». Чтение не состоялось — Толстой через два дня уехал к семье в Ясную Поляну, а 3 декабря того же года Щебальский читал две ненапечатанные главы «Войны и мира» (сцены обеда в Английском клубе) в Обществе любителей российской словесности.

Откликаясь на выход первых трёх томов, Щебальский высоко оценил книгу Толстого: и за точность и тонкость в изображении характера времени и людей («Оглянитесь, и вы не найдёте вокруг себя ни старогусарского типа, который выведен в лице Денисова, ни помещиков, которые разорялись бы так добродушно, как граф Ростов, <...> ни доезжачих, ни масонов, ни всеобщего (мы говорим *всеобщего*)

лепета на языке, представляющем смесь “французского с нижегородским”» [*PВ*. 1868. № 1. С. 301; далее указываю номера страниц]); и за «осязательную связь с настоящей, теперешнею современностию» [*Там же*]; и за то, что «нигде в романе графа Толстого вы не найдёте ничего тенденциозного, ни одной замашки тех господ, которые ежедневно проповедуют нам, и в романах и в драмах, то западничество, то славянофильство, то гражданский брак, то Жан-Жакову методу воспитания...» [302]. Критик восхищён тем, как автор умеет вывести на сцену — хоть на десять минут — живые лица: и Марью Дмитриевну Ахросимову, и дипломата Билибина, и Берга, и дядюшку Ростовых, и ключницу Анисью, и генерала Мака... «Граф Толстой находит возможность положить печать особенности даже на первенствующих борзых собак в охотах Ростовых и их соседей...» [302].

После выхода IV и V томов Щебальский не переменял своего взгляда на первую половину книги: «Последний роман графа Толстого есть, без сомнения, один из самых ярких алмазов в своём роде» [*PВ*. 1869. № 4. С. 856; далее только номера страниц]. «Но в промежутке между выходом этих трёх первых томов и четвёртого графа Толстого посетила мысль исправить взгляд своих современников не только на описываемое им время, но и на историю вообще»; так появилась «тенденциозность особого рода» [856]. «Он отрицает и Наполеона, и Кутузова, исторических деятелей и человеческие массы, личный произвол и значение исторических событий. Может быть и не подозревая того, он вносит в историю полнейший нигилизм» [857] — и статья Щебальского называется «Нигилизм в истории». Автор *PВ* не понимает и не принимает историософии Толстого, цепляясь к словам и усматривая софизмы там, где их нет (так позже противники «непротивления злу насилием» спрашивали у Льва Николаевича: «А если тигр нападёт на ребёнка, Вы тоже не станете его убивать?», — на что Толстой, улыбаясь, отвечал: «Ну откуда у нас тигры...»). Щебальский пытается поймать писателя на слове: соглашаясь с тем, что ни одно событие нельзя рассматривать отдельно, вырванным из смежных обстоятельств и событий, он иронически замечает, что «представляется физическая невозможность писать только

всемирную историю» [859]; нужно ли говорить, что Толстой и не призывает к этому и не требует этого: рассматривая некоторый факт (например, фланговый марш русской армии с рязанской на калужскую дорогу), он говорит, что дело сложилось таким образом, что это движение принесло успех; могло быть и иначе. Споря с историками, превозносившими разных русских и нерусских полководцев за саму мысль этого движения, Толстой говорит, что мысль эта настолько проста, что даже если представить армию без начальников, эта армия пошла бы именно в данном направлении. Щебальский привязывается к форме выражения и замечает, что без полководцев армия бы «или разбрелась бы по домам, или же рассыпалась бы по направлению операционной линии французов» [860]. Так и спорили с Толстым.

8 декабря 1868 года П.А. Вяземский писал П. Бартеневу: «Читали ли Вы в декабре “Военного сборника” статью Витмера о “Войне и мире”? Уж это не просто вылазки, как наши с Норовым, а генеральное сражение, в котором Толстой разбит в прах. Жаль, что это сражение дано на страницах малоизвестного журнала» [РГАЛИ. Ф. 46. Оп. 1. Ед. 561. Л. 7—8]. Александр Николаевич Витмер, профессор военной истории и военного искусства в Академии Генерального штаба, напечатал свою большую статью «1812 год в “Войне и мире”» в двух номерах «Военного сборника»; в 1869 году его сочинение вышло отдельной книжкой.

Уже в предисловии к своей книге Витмер обвиняет Толстого в том, что тот распространяет среди доверчивых читателей «самые превратные понятия как о военном деле, так и об исторических событиях 1812 года» [Витмер. С. I; далее указываю только номера страниц]; между тем, по мнению специалиста, автор «Войны и мира» просто мало знает и мало понимает в военной истории, которой он взялся учить. Прочитав толстовский пассаж: «Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет, потому что не верит, чтобы можно было вполне знать что-нибудь» [Т. 3. Ч. 1. Гл. X], — Витмер замечает: «Очевидно, что подобный вывод о самоуверенности русского сделан был автором на основании глубокого самопознания» [37].

Знакомое нам противопоставление художника и мыслителя начинается здесь и сейчас, в первых же откликах на не законченную ещё книгу: «Весьма немногие видят разницу между графом Толстым—философом и историком и графом Толстым—художником. А разница между ними громадная!» [2]. Витмер напоминает эпизод Бородинского боя, когда солдаты, «падая, спотыкаясь и крича, весело и бурно бежали на батарею» [Т. 3. Ч. 2. Гл. XXXII]; сопоставляя его с толстовским утверждением, что солдат в бою заботится прежде всего о сохранении собственной жизни, критик замечает: «здесь говорит художник с чрезвычайно верным чутьём, на время оставивший в стороне своё жиденькое доктринёрство» [105]; о философствовании Толстого говорится с сожалением: «первостепенный её <отечественной литературы. — Л.С.> представитель тратит свой талант, и силы, и время на дело, совершенно чуждое его блестящему дарованию» [122].

Для победы в споре нужно изложить точку зрения оппонента так, чтобы она выглядела откровенно нелепой. Витмер неоднократно прибегает к этому приёму — вот, например: «Наполеон начинает войну с Россией, сам не зная зачем, помимо своей собственной воли; он делает это, будучи вполне уверен, что в Москве ждёт его гибель, а между тем не может остановиться и идёт на свою гибель как кролик в пасть удава» [8]. Ещё пример: Толстой пишет, что «причиной гибели французских войск Наполеона было, с одной стороны, вступление их в позднее время без приготовления к зимнему походу в глубь России, а с другой стороны, характер, который приняла война от сожжения русских городов и возбуждения ненависти к врагу в русском народе» [Т. 3. Ч. 2. Гл. I]; а в другом месте замечает: «все усилия *со стороны русских* были постоянно устремляемы на то, чтобы помешать тому, что одно могло спасти Россию». Витмер применяет полемический приём: следовательно, «все наши усилия были устремлены на то, чтобы французы вступили в наши пределы пораньше и приготовились к зимнему походу, а также все усилия со стороны русских были постоянно устремлены на то, чтобы не возбуждалась ненависть к врагу в русском народе. Откуда автор почерпнул такие интересные сведения, ускользавшие до сих пор из рук “наивных”

историков?» [21]. Нужно ли комментировать подобную манеру спорить?

Между тем спор идёт серьёзный — о роли личности в истории. Витмер считает, что «передовые личности» «выдвигаются событиями, но, в свою очередь, и руководят ими» [9]. И «причины войны собственно 1812 года при тех условиях, при которых она совершилась, были всё же эти, по-видимому, пустые поводы: взаимное неудовольствие двух императоров вследствие захвата Наполеоном великого герцогства Ольденбургского, несоблюдение Александром условий континентальной системы, и т.д. и т.п.» [13].

Не только исторические воззрения писателя и историка разнятся решительно, но и их представления о патриотизме. К подвигу Раевского, «который всякий русский *должен* ценить, граф Толстой относится и недоверчиво, и неодобрительно», — замечает Витмер [15]. При этом «если руководиться справедливостью, а не ложным патриотизмом, то необходимо сознаться, что Бородинское сражение было нами проиграно; оно не было такой решительной победой, к каким привыкли французы и на которую они рассчитывали, но, тем не менее, это была победа: по крайней мере русские были сбиты на всех пунктах, принуждены ночью же начать отступление, бросая по дороге своих раненых, и понесли громадные потери, далеко превосходившие потери неприятеля; наконец, прямым следствием сражения было занятие неприятелем без боя нашей столицы» [88—89]³⁴. (Читатель, по-видимому, помнит, что Толстой именно с таким плоским и однозначным пониманием сражения спорит в «Войне и мире».) И «народная война вовсе не может быть названа не только исключительной, но и главнейшей причиной гибели французской армии; напротив того, все дошедшие до нас сведения заставляют думать, что вооружённое восстание народа принесло неприятелю сравнительно весь-

³⁴ Ср. у Н.А. Лачинова: «Ни в одном сочинении <...> не доказана так ясно победа, одержанная нашими войсками под Бородином, как в немногих страницах в конце последней части романа; историки <...> сличали и сравнивали число потерь и трофеев <...> и не обратили внимания на самую из действительных побед, одержанную нашими войсками, — победу нравственную» [Лачинов. С. 126—127].

ма мало вреда: несколько вырезанных шаек мародёров, несколько зверских поступков (вполне, впрочем, оправдываемых поведением неприятеля) над отсталыми и пленными — вот и всё» [18]. Витмеру вообще присуще прямолинейно-логическое мышление: Толстой пишет, что Наполеон, как и его маршалы и генералы, сам не убивал, не стрелял и потому был менее свободен, чем солдат, испытывающий предельную опасность для жизни, которая оказывается сильнее приказов и диспозиций — Витмер возражает: Багратион и Барклай (с нашей стороны), король неополитанский, вице-король итальянский, маршалы — с французской — в сражении участвовали [93—94]. Толстой пишет: «Не только гения и каких-нибудь качеств особенных не нужно хорошему полководцу, но, напротив, ему нужно отсутствие самых лучших высших, человеческих качеств — любви, поэзии, нежности, философского пытливости сомнения. Он должен быть ограничен, твёрдо уверен в том, что то, что он делает, очень важно (иначе у него не останется терпения), и тогда только он будет храбрый полководец» [Т. 3. Ч. 1. Гл. XI]; Витмер возражает: «Что полководцы не должны быть непременно чужды поэзии и философии — доказательством может служить Фридрих Великий, один из величайших военных и вместе государственных деятелей всех веков» [60]. Мнение, «что сам Бонапарте — не более как глупый человек с самодовольным и ограниченным лицом, — подобное мнение могло прийти в голову только князю Болконскому! Не помним, в какую часть тела князь был ранен при Аустерлице, но, во всяком случае, подобные мнения мы приписываем последствиям его тяжкой раны и как с человеком, находящемся не в нормальном состоянии, спорить с ним не будем» [61]. Так, в общем, написана вся книга Витмера.

Следует отметить и фактические поправки, внесённые Витмером. Так, он пишет: «Автор уж чересчур свысока обращается с цифрами» [45]; численность французской армии Витмер полагает в 608 000, при этом первоначальное число перешедших границу — не более 468 000; численность нашей армии — 218 000 [19]; при Бородине: французов — не более 130 000, русских — 121 000 человек; потери: наши — 50 000 человек, французов — 35 000 [45].

Замечу от себя, что все эти цифры у Михайловского-Данилевского, Богдановича, Липранди и др. авторов различаются, порой довольно серьёзно.

Но, конечно, самые важные противоречия между писателем и историком обнаруживаются в суждениях о Наполеоне. Витмер пишет: чтобы привести в Россию такую армию, какова была «великая армия» 1812 года, «нужна сила — сила громадная; нужен недюжинный ум; необходима непреклонная воля. Такой человек может быть злодей, но злодей великий». И тут же даёт сноски: «Под Люценом, например, когда звезда Наполеона начинала уже меркнуть, навстречу императору, спешившему на поле сражения, попадались толпы раненых, и даже умирающие приподнимались на своих носилках, провожая его возгласами: “Vive l’Empereur!”» [23] Могли ли эти факты убедить Толстого, который никогда не поэтизировал зло — как бы привлекательно ни выглядел его носитель у других авторов.

По поводу сцены с растиранием французского императора (о ней уже шла речь на стр. 101) Витмер замечает: «Мы воздержимся от каких бы то ни было замечаний по поводу жирной спины, её вспрыскивания одеколоном и других интересностей XXVI главы, отвечая на это весьма мудрой французской поговоркой: “Il n’y a pas de grand homme pour son valet de chambre”» [65]. В Полном собрании сочинений Толстого нет упоминания имени Витмера, но когда в V главе четвёртой части четвёртого тома Толстой написал: «Для лакея не может быть великого человека, потому что у лакея своё понятие о величии», — он, возможно, отвечал и Витмеру (эти главы дописывались весной 1869 года, и книга Витмера могла быть известна Толстому), и Вяземскому, который цитировал то же выражение.

Разумеется, Витмер, в отличие от Толстого, склонен всерьёз обсуждать подробности деятельности Наполеона — в частности, в Бородинском сражении. Так, Витмер считает, что если бы Наполеон принял план Даву (обойти наш левый фланг со своими пятью дивизиями), мы бы проиграли: «Русскую армию, вероятно, постигло бы в таком случае конечное поражение» [97]; Наполеон напрасно не ввёл в дело старую гвардию [101], — это решило бы

исход не только сражения, но, возможно, и всей кампании; понятно, что для Витмера «простуда императора могла иметь влияние на исход Бородинского сражения и, быть может, даже на исход целой кампании, но ни в каком случае не на дальнейшую судьбу России, как угодно шутить автору» [103].

Русские критики, историки и публицисты решительно встали на защиту Наполеона от Толстого. Так, Н.Д. Ахшарумов, откликаясь на IV том «Войны и мира», писал о французском императоре: «Он угадал дух нации и усвоил его себе в таком совершенстве, что стал в глазах миллионов людей живым его воплощением. И этот-то дух объясняет нам, почему его армия не была бессмысленным стадом, которое какая-нибудь одна пугливая овца могла в любую минуту сбить с толку. Его армия — это был *он*. Сотни тысяч людей охвачены были вдохновением одного, и вдохновение это для них становилось единою душою, делало их единым телом этой души. Оно-то и было главной причиной его баснословных успехов, а не дурацкое счастье» [Ахшарумов. С. 109]. Возражая князю Андрею на его мысли о том, что не может быть военного гения, критик пишет: «Чутьём угадать то, что не подчинено законам точного вычисления, угадать сердце людей и их тайные помыслы; оценить верно скрытые пружины их побуждений и пророческим взглядом предвидеть все поступки их; сосредоточить в себе, как в фокусе, вдохновение целой нации и обратным путём вдохновить нестройную массу своим огнём, стать душою несметного множества, итогом общественного сознания — какая наука может этому научить?.. Это врождённое дарование, и высшую степень этого дарования мы называем *гением*» [Там же]. Ему вторит Н. Лачинов: «Его <Наполеона. — Л.С.> гениальность состояла в знании и понимании солдата и человека, в умении ободрить и оживить войска, поднять их нравственные силы, в умении понять и, что называется, раскусить неприятеля, в особенном искусстве пользоваться мимолётными случайностями и из хаоса намёков и полуслов составить приблизительное понятие о положении дела и вероятном его исходе, которое иногда достигало размеров почти предвидения (Аустерлиц), сочетание решимости с осторожностью, которое редко его

оставляло, и личная храбрость или, лучше сказать, презрение к опасности, — вот данные, которые в продолжение пятнадцати лет водили Наполеона к победам и снискали ему под конец безграничное доверие и обожание солдат, которое испытано было несколько раз на самом тяжёлом оселке войны — на поражении» [*Лачинов*. С. 125].

Этот спор имел отнюдь не академический интерес. Как известно, Наполеон III выпустил книгу «История Юлия Цезаря», о смысле которой одна из русских газет написала так: «По системе императора французов судьбами человечества управляют гениальные люди вроде Юлия Цезаря, Наполеона I и, уже разумеется, Наполеона III, и что людей этих посылает Провидение для того, чтобы они двигали историю человечества» [«Русско-славянские отголоски». 1868. № 2. С. 8 («Общественные заметки»; без подписи)]³⁵. Толстой, как пишет та же газета, «явился объективным мыслителем, признающим постоянство и непреложность исторического закона», за что и заслужил упреки рецензентов. Критик защищает Толстого от Ахшарумова (который «ставит пользу как критерий философской истины») и от Богдановича, который в газете «Голос» [1868. № 129] учит Толстого «внимательно проследить сношения представителей России и Франции, императора Александра I и Наполеона — в Тильзите, в Эрфурте и после ваграмской кампании 1809 года <...>». «Это философия генерального штаба, — пишет анонимный автор «Русско-славянских отголосков», — философия военного артикула; как же требовать, чтобы философствующая свободная мысль и наука придерживались этих утилитарных или служебных философских взглядов» [С. 8].

Но глубже и точнее всех понял «Войну и мир» Н. Страхов³⁶: «Война была со стороны русских оборонительная

³⁵ О значении этой книги для идеологии главного героя «Преступления и наказания» см. комментарий к изданию романа Достоевского в серии «Литературные памятники» [М., 1970. С. 753 и след.).

³⁶ Он писал в предисловии к кн. «Критический разбор “Войны и мира”»: «Я не спорил с художником, не торопился стать к нему в положение судьбы, не чувствовал желаний противоречить его отдельным мнениям и высказывать свои собственные, будто бы более основательные взгляды на те же вещи. Прежде всего я постарался понять создание художника» [*Страхов* 3. С. 311].

и, следовательно, имела святой и народный характер; тогда как со стороны французов она была наступательная, т.е. насильственная и несправедливая. При Бородине все другие отношения и соображения сгладились и исчезали; друг против друга стояли два народа — один нападающий, другой защищающийся. Поэтому тут с величайшей ясностью обнаруживалась сила тех двух *идей*, которые на этот раз двигали этими народами и поставили их в такое взаимное положение. Французы явились как представители космополитической идеи, способной, во имя общих начал, прибегать к насилию, к убийству народов; русские явились представителями идеи народной, с любовью охраняющей дух и строй самобытной, органически сложившейся жизни. Вопрос о национальностях был поставлен на Бородинском поле, и русские решили его здесь в первый раз в пользу национальностей» [*Страхов 1. С. 218*]. Страхов прочитал «Войну и мир» по-своему, в духе почвеннических идей А.А. Григорьева и Достоевского; по-видимому, такое прочтение было близко самому Толстому, так как именно с этих статей Страхова началось его сближение с автором «Войны и мира».

И Наполеон, каким его изобразил Толстой, был принят и объяснён Страховым: «Наполеон не понял и никогда не мог понять того, что совершилось на Бородинском поле; понятно, что он должен был быть объят недоумением и страхом при зрелище неожиданной и неведомой силы, которая восстала против него. <...> В Наполеоне, в этом герое из героев, автор видит человека, дошедшего до совершенной утраты истинного человеческого достоинства, человека, постигнутого помрачением ума и совести. Доказательство налицо. Как Барклай де Толли навсегда уронен тем, что не понял положения Бородинской битвы, как Кутузов превознесён выше всяких похвал тем, что совершенно ясно понимал, что делается во время этой битвы, так Наполеон навеки осуждён тем, что не понял того святого, простого дела, которое мы делали при Бородине и которое понимал каждый наш солдат. В деле, так громко вопившем в своем смысле, Наполеон не понял, что правда была на нашей стороне. Европа хотела задушить Россию и в своей гордости мечтала, что действует прекрасно и справедливо.

Итак, в лице Наполеона художник как будто хотел представить нам душу человеческую в её слепоте, хотел показать, что героическая жизнь может противоречить истинному человеческому достоинству, что добро, правда и красота могут быть гораздо доступнее людям простым и малым, чем иным великим героям. Простой человек, простая жизнь поставлены поэтом выше героизма и по достоинству и по силе; ибо простые русские люди с такими сердцами, как у Николая Ростова, у Тимохина и Тушина, победили Наполеона и его великую армию» [*Страхов 1. С. 218—219*].

И даже если читатель не помнит статей Ап. Григорьева, где типы русской литературы делились на х и щ н ы х (блестящих) и с м и р н ы х (простых), мысль Страхова понятна: «В Наполеоне художник как будто прямо хотел разоблачить, развенчать блестящий тип, развенчать его в величайшем его представителе» [*Там же. С. 255*]; «Так как на Наполеоне лежал грех насилия и угнетения, так как доблесть французов была действительно помрачена сиянием русской доблести, то нельзя не видеть, что художник был прав, набрасывая тень на блестящий тип императора, нельзя не сочувствовать чистоте и правильности тех инстинктов, которыми он руководился. Изображение Наполеона всё-таки изумительно верно, хотя мы и не можем сказать, чтобы внутренняя жизнь его и его армии была захвачена в такой глубине и полноте, в какой нам воочию представлена тогдашняя русская жизнь» [*Там же*].

Выше уже приводились упрёки Толстому в том, что он пишет об аристократах. М.И. Богданович, автор трёхтомной «Истории Отечественной войны 1812 года», писал в газете «Голос» [1868. № 129. За и против. I. Что такое «Война и мир» графа Л.Н. Толстого. С. 2; подп. М.Б.]: «Даровитый автор “Войны и мира” мог начертать картину борьбы России со всею Европою и дать в своём творении почётное место народу, а не великосветским героям своего романа <...>». Н. Соловьёв недоумевал: «При опустошительном движении французов к Москве русский народ не только не поднимается и озлобляется мало-помалу, но даже как будто стоит за врагов и бунтуется против патриотизма русских помещиков» [*Соловьёв. С. 184*]. Упомянув описание богучаровского бунта, критик замечал: «Положим, что такой случай и был в действитель-

ности; но его всё-таки нельзя высовывать так, чтобы им заслонялась целая картина разгорающегося народного озлобления, овладевшего, как известно, фактически даже женщинами. Рассказы квасных патриотов, правда, это движение много опошлили. Но гр. Толстой именно и должен был бы снять эту оболочку риторических фраз и представить во всём блеске и силе роевую жизнь масс, которым справедливо придаёт столько значения <...> И это устранение народа из общего плана картины тем более ещё бросается в глаза, что в произведении Толстого на виду более всего оказываются князья да графы, министры да генералы, фрейлины да великосветские красавицы» [Там же. С. 184—185].

Кажется, всё это написано не о «Войне и мире», а о какой-то другой книге. Но наиболее чуткие современники Толстого иначе читали его произведение. Так, Страхов писал, что в «Войне и мире» Толстой нашёл «мерило добра и зла», которое напряжённо искал в прежних произведениях. «Семейство Ростовых, хотя они и графы, есть простое семейство русских помещиков, тесно связанное с деревнею, сохраняющее весь строй, все предания русской жизни и только случайно соприкасающееся с большим светом» [Страхов 1. С. 251]. Не принадлежит к большому свету и семейство Болконских: «Несмотря на то что одно семейство — графское, а другое — княжеское, “Война и мир” не имеет и тени великосветского характера» [Там же].

По-видимому, именно Н. Соловьёва имел в виду Лесков, когда писал: «Один философствующий критик упрекнул автора, что он “*просмотрел народ*” и не дал ему принадлежащего значения в своём романе”. Говоря по истине, мы не знаем ничего смешнее и неуместнее этой забавной укоризны писателю, *сделавшему более чем все* для вознесения народного духа на ту высоту, на которую поставил его гр. Толстой, указав ему оттуда господствовать над суетою и мелочью деяний отдельных лиц, удерживавших за собою до сих пор всю славу великого дела. Вся несостоятельность этого простодушного укора столь очевидна, что его недостойно и опровергать» [Лесков. С. 320].

Н.В. Шелгунов не мог не заметить «струйки народности, проходящей через роман» (критик имеет в виду духовное обновление Пьера от общения с солдатами и Ка-

ратаевым, «в которых Пьер увидел впервые человеческую простоту, увидел первых людей дела»), но сразу же заподозрил и опасность: «зачем же впадать в крайность и от народа восходить к славянофилам?» Для Шелгунова и Николай Ростов в эпилоге — это «натяжки и украшения, в которых можно усмотреть славянофильскую тенденцию и тот “армяк”, который должен спасти Россию» [*Шелгунов*. С. 349].

Даже по поводу психологического метода Толстого у критиков, откликнувшихся на «Войну и мир», обнаружались противоположные суждения³⁷. Н.И. Орфеев — не критик, а следовательно, читатель непрофессиональный, непосредственный — писал П. Бартеневу 31 января 1868 г.: «Автор “Войны” удивительный психиатр. — От него как ни прячься, как ни маскируй тайного движения души, — не скроешь; он непременно обличит, вытащит наружу и расскажет вслух — что это такое. Выследить, поймать и назвать неуловимое, тонкое движение душевное, которое понятно, но не даётся слову, есть дар, собственно принадлежащий гр. Толстому, у него оно является меньше, законченнее и с полным именем» [*Летописи—1938* С. 260]. А вот что писал Н. Ахшарумов, откликаясь на первые четыре тома книги: «В его аналитическом изображении человека все люди выходят у него одинаково. Все они скроены на один покрой; все перед делом и после дела мечтают и фантазируют, а в решительную минуту или совсем теряются и становятся чисто пассивной игрушкой случая, или действуют под влиянием необузданного, слепого порыва, не обусловленного никакою постоянной складкою в их характере и в их образе мыслей, а потому тоже случайного. <...> Все у него приходят по временам в состояние какой-то детской мечтательности, и в состоянии этом всем им мерещится такой же маленький, не то сентиментальный, не то фантастический, не то философический вздор...» [*Ахшарумов*. С. 107].

П. Щебальский восхищён «необыкновенной верностью взгляда» писателя, «необыкновенной самобытностью его таланта», «алмазами» и «перлами, добытыми из самых глу-

³⁷ О психологизме Толстого писали А.В. Дружинин и Н.Г. Чернышевский, рецензировавшие ранние произведения писателя.

боких бездн души человеческой» [РВ. 1868. № 1. С. 302, 307]. Но при этом критику кажется, что Толстой «недостаточно разборчив в предмете своих наблюдений и нередко впадает в мелочность» [С. 307]. Он причисляет автора «Войны и мира» к «новейшей школе писателей», метод которой выглядит у него так: «Они <писатели новой школы. — Л.С.> “закладывают” (выражаясь языком живописцев) тон, — положим, храбрости, но тотчас накидывают на него полутоны, начинают доискиваться, почему человек храбр, точно ли он храбр, какого рода его храбрость: от пылкости, от самолюбия ли она происходит? Есть ли она результат убеждения и силы воли над слабостью нервов, или тупого непонимания опасности, или же страха перед судом света?.. Но так или иначе, только после всех этих изысканий оказывается, что наш храбрец есть тряпка и что весь свет пошло ошибается, почитая его храбрецом... К таким-то последствиям приводит злоупотребление психологическим анализом, — и признаемся откровенно, нам кажется, что граф Толстой не избегает упрёка в этом недостатке, происходящем от избытка в нём силы наблюдения» [Там же. С. 307—308].

Безоговорочно высоко оценил психологическое мастерство Толстого Страхов: «Мы видим, например, как *растут* лица у гр. Л.Н. Толстого. Наташа, выбегающая с куклой в гостиную в первом томе, и Наташа, входящая в церковь в четвёртом, — это действительно одно и то же лицо в двух различных возрастах — девочки и девушки, а не два возраста, только приписанные одному лицу (как это часто бывает у других писателей). Автор показал нам при этом и все промежуточные ступени этого развития. Точно так перед нашими глазами растёт Николай Ростов, Петр Безухов из молодого человека превращается в московского барина, дряхлеет старик Болконский и пр.» [Страхов I. С. 213]. «Какое бы чувство ни владело человеком, это изображается у гр. Л.Н. Толстого со всеми его изменениями и колебаниями, не в виде какой-то постоянной величины, а в виде только способности к известному чувству, в виде искры, постоянно тлеющей, готовой вспыхнуть ярким пламенем, но часто заглушаемой другими чувствами. Вспомните, например, чувство злобы, которое князь Андрей питает к Курагину, доходящие до стран-

ности противоречия и перемены в чувствах княжны Марьи, религиозной, влюбчивой, безгранично любящей отца и т.п.» [Там же. С. 214].

Толстовский психологизм в восприятии Страхова — это не просто изошрённый анализ, но и проявление особой идеологии писателя: «<...> он повсюду верен *неизменным, вечным свойствам души человеческой*. Как в герое он видит человеческую сторону, так в человеке известного времени, известного круга и воспитания он прежде всего видит человека, так в его действиях, определённых веком и обстоятельствами, видит неизменные законы человеческой природы. Отсюда происходит, так сказать, *общечеловеческая* занимательность этого удивительного произведения, соединяющего в себе художественный реализм с художественным идеализмом, историческую верность с общепсихической правдою, яркую народную своеобразность с общечеловеческою шириною» [Там же. С. 221].

Но главное, что понял и сумел точно сформулировать Страхов, — это позиция писателя, авторский идеал — напомним, что идеал автора был особенно важен для Ап. Григорьева, открывшего русскому читателю Островского и одним из первых сказавшего о великом значении творчества Пушкина; не забудем, что именно авторский идеал всегда был важен для самого Толстого — во все периоды своей жизни он на первое место ставил вопрос, который задаёт себе читатель: «“Ну-ка, что ты за человек? И чем отличаешься от всех людей, которых я знаю, и что можешь мне сказать нового о том, как надо смотреть на нашу жизнь?” Что бы ни изображал художник: святых, разбойников, царей, лакеев, — мы ищем и видим только душу самого художника» [ПСС—90. Т. 30. С. 19].

Н. Ахшарумов обвинял Толстого в «неопределённости и неустойчивости» взглядов: «Он никогда, например, не решится осудить прямо кого-нибудь или что-нибудь и сказать: это *скверно*, или так же решительно оправдать кого-нибудь и сказать: *хорошо*. У него всё выходит как-то зараз и хорошо и скверно, и справедливо, и нет» [Ахшарумов. С. 114].

А. Вошинников [«Новороссийский телеграф». 1869. № 263; 1870. № 12, 28, 33 (Фельетон. «Война и мир», соч. графа Л.Н. Толстого, том шестой)] готов согласиться с тем, что

«Война и мир» по первым томам была заслуженно признана «замечательнейшим произведением нашей литературы последнего времени» [№ 12. С. 1], но «с пятым томом интерес этот начинает уменьшаться» — «чувствуется, что творческая сила автора падает, что непосредственный художник даже в чисто романической части уступает место резонёру, а в достоинство мирозерцания графа Толстого публика имела мало доверия <...>». Но «как мы ни были приготовлены найти 6-й том хуже предыдущих, мы не ждали такого фиаско»; прежде говорилось о несостоятельности автора как мыслителя, «но в 6-м томе он является также несостоятельным как художник, потому что характеры действующих лиц им не выдержаны и ещё более по тем жалким тенденциям, которые автор хочет выдать нам за идеалы семейной и общественной жизни». Как считает А. Вошинников, роман «сильно надоел» автору, и тот спешит «уморить» многих героев (при этом критик небрежно называет младшего сына Ильи Ростова Андреем вместо Пети [*Там же*]; впрочем, Андрюшей он называет и Николеньку Болконского [№ 33. С. 2]).

Брак Пьера и Наташи, считает критик, есть «в глазах автора нечто вроде обетованной земли, где должны кончиться все жизненные тревобления и сомнения, разрешиться все задачи» [№ 12. С. 2] — думаю, читатель удивится, прочтя эти слова: разве «разрешаются все задачи» для Пьера? Впрочем, искания героя выглядят в статье А. Вошинникова вполне юмористически: «душеспасительная беседа солдата-старичка, почти идиота, Каратаева», как и вообще пребывание в плену, «осенила мудростию довольно безалаберную голову Пьера» [*Там же*]; его пребывание в Петербурге напоминают критику не «известную декабрьскую катастрофу», а скорее «незабвенного Репетилова» [№ 33. С. 2]. Но дальше ещё интереснее: Наташа в Эпиллоге — «бешеная и неразвитая женщина, готовая зацеловать мужа до смерти в припадке безотчётной нежности или задушить его в припадке безотчётной ярости» [№ 33. С. 1]. Один из упреков Толстому от критика состоит именно в «искажении одной из самых поэтических личностей его романа. Что он сделал с Наташей и с какой целью? Вдобавок нужно заметить, что в описание этой бабы Яги, этой волчицы в человеческом образе с её бес-

смысленной нежностью к мужу и бессмысленной привязанностью к детям автор вносит желание предъявить их нам как нечто сочувственное и поучительное» [Там же].

Толстой, по мнению нашего критика, слишком любит Николая, который женился на княжне Марье из-за денег; при этом Соня, «бедная» и «благородная девушка», которая «бросает милостыню этим сиятельным идиотам» <Ростовым. — Л.С.>, обижена автором. Автор так страстен к Николаю, что «ударяется даже в пророчество» — «забегая в далёкое будущее» [№ 28. С. 2—3] (Толстой, как помнит читатель, говорит, что и после смерти Николая «в народе хранилась набожная память об его управлении»). Заканчивая статью, критик счёл нужным всё же сказать об «огромном творческом таланте и замечательном уме» Толстого; миросозерцание писателя он определил как *нигилизм* (помните статью Щебальского?) — «это не тот нигилизм, отрицающий авторитеты и предания, который несколько лет служил пугалом нашего общества; это нигилизм совершенно противоположного и более вредного свойства: это отрицание от разума и искание убежища от жизненных сомнений под сенью мистицизма и фатализма» [№ 33. С. 2].

Всем претензиям современников к книге Толстого ответил Страхов: «Среди всего разнообразия лиц и событий мы чувствуем присутствие каких-то твёрдых и незыблемых начал, на которых держится эта жизнь. Обязанности семейные ясны для всех. Понятия о добре и зле отчётливы и прочны» [Страхов 1. С. 217]. И он же десятью страницами ранее объясняет подробно, «чего же ищет поэт? Какое упорное любопытство заставляет его следить за малейшими ощущениями всех этих людей, начиная от Наполеона и Кутузова до тех маленьких девочек, которых князь Андрей застал в своем разорённом саду?

Ответ один: художник ищет следов красоты души человеческой, ищет в каждом изображаемом лице той искры Божией, в которой заключается человеческое достоинство личности, — словом, старается найти и определить со всею точностью, каким образом и в какой мере идеальные стремления человека осуществляются в действительной жизни» [Там же. С. 206].

Уже говорилось о том, что «Войну и мир» многие воспринимали и продолжают воспринимать как обличение света, аристократии и проч. Но Страхов понял, в чём истоки толстовского отношения к героям: «Всё фальшивое, блестящее только по внешности беспощадно разоблачается художником. Под искусственными, наружно-изящными отношениями высшего общества он открывает нам целую бездну пустоты, низких страстей и чисто животных влечений. Напротив, всё простое и истинное, в каких бы низменных и грубых формах оно ни проявлялось, находит в художнике глубокое сочувствие. Как ничтожны и пошлы салоны Анны Павловны Шерер и Элен Безуховой и какой поэзией облечён смиренный быт *дядюшки!*» [Там же. С. 250]. И смысл противостояния Европы и России в 1812 году, как он дан в «Войне и мире», для Страхова ясен: «Художник изобразил со всею ясностью, в чём русские люди полагают человеческое достоинство, в чём тот идеал величия, который присутствует даже в слабых душах и не оставляет сильных даже в минуты их заблуждений и всяких нравственных падений. Идеал этот состоит, по формуле, данной самим автором, в простоте, добре и правде. Простота, добро и правда победили в 1812 году силу, не соблюдавшую простоты, исполненную зла и фальши. Вот смысл “Войны и мира”» [Страхов 2. С. 264]. И после окончания «Войны и мира» критик торжественно провозгласил: «Полная картина человеческой жизни. Полная картина тогдашней России. Полная картина всего, в чём люди полагают свое счастье и величие, своё горе и унижение. Вот что такое “Война и мир”» [Там же. С. 261].

Страхову принадлежат строки, которыми уместно закончить первую часть нашей книги: «“Война и мир” есть также превосходный пробный камень всякого критического и эстетического понимания, а вместе и жёсткий камень преткновения для всякой глупости и всякого нахальства. Кажется, легко понять, что не “Войну и мир” будут ценить по вашим словам и мнениям, а вас будут судить по тому, что вы скажете о “Войне и мире”» [Страхов 3. С. 312—313].

Рекомендуемая литература

- Альтман М.С.* У Льва Толстого. Тула, 1980.
- Асмус В.Ф.* Мировоззрение Толстого // Асмус В.Ф. Избр. филос. труды. Т. 1. М., 1969.
- Берлин И.* Ёж и лиса. Эссе о взглядах Толстого на историю // Берлин И. История свободы. Россия. М., 2001.
- Берман Б.И.* Сокровенный Толстой. М., 1992.
- Бочаров С.Г.* Роман Л.Н. Толстого «Война и мир». М., 1963 (есть другие издания).
- Бочаров С.Г.* «Мир» в «Войне и мире» // Бочаров С.Г. О художественных мирах. М., 1985.
- Галаган Г.Я.* Л. Толстой: художественно-этические искания. Л., 1981.
- Громов П.П.* О стиле Л. Толстого: «Диалектика души» в «Войне и мире». Л., 1977.
- Гусев Н.Н.* Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. М., 1954.
- Гусев Н.Н.* Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1856 по 1869 год. М., 1957.
- Зайденинур Э.Е.* «Война и мир» Л.Н. Толстого. Создание великой книги. Л., 1985.
- Камянов В.И.* Поэтический мир эпоса. М., 1978.
- Кузминская Т.А.* Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, 1973.
- Лесскис Г.А.* Лев Толстой (1852—1869). М., 2000.
- Линков В.Я.* Л. Толстой. М., 1982.
- Лурье Я.С.* После Льва Толстого. Исторические воззрения Толстого и проблемы XX века. СПб., 1993.
- Маймин Е.А.* Лев Толстой: путь писателя. М., 1978.
- Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» в русской критике. Л., 1989.
- Скафтымов А.* Образ Кутузова и философия истории в романе Л. Толстого «Война и мир» // Скафтымов А. Нравственные искания русских писателей. М., 1972.
- Фейн Г.Н.* Роман Л.Н. Толстого «Война и мир». Целостный анализ. М., 1966.
- Фойер К.Б.* Генезис «Войны и мира». СПб., 2002.

Фортуатов Н.М. Творческая лаборатория Л.Толстого. М., 1983.

Хализев В.Е., Кормилов С.И. Роман Л.Толстого «Война и мир». М., 1983.

Шкловский В. Матерьял и стиль в романе Л.Толстого «Война и мир». М., 1928.

Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой. Книга первая. 50-е годы. Л., 1928.

Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой. Книга вторая. 60-е годы. М.; Л., 1931.

Эйхенбаум Б.М. О прозе. Л., 1969.

Словарь устаревших и малопонятных слов

Словарь рассчитан на школьников, поэтому в него включено максимальное количество слов, могущих вызвать непонимание современного читателя.

В составлении словаря использовались: 1) Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова. Т. 1—4. М., 1939; 2) *Даль В.* Толковый словарь. Т. 1—4. М., 1956 (есть в Интернете); 3) *Шепелёв Л.Е.* Титулы, мундиры, ордена. Л., 1991; 4) Полный православный богословский энциклопедический словарь в двух томах. М., 1992 (репринтное изд.); 5) *Сомов В.П.* Словарь редких и забытых слов. М., 1996; 6) Российский историко-бытовой словарь / Авт.-сост. Л.В. Беловинский. М., 1999; 7) Словарь иностранных слов и выражений / Авт.-сост. Е.С. Зенович. М., 2000; 8) *Федосюк Ю.А.* Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века. М., 2001.

ab ovo (лат.) — с начала (и до конца)

авангард — передовая (головная) часть войск

аванпост — передовой пост, выставляемый войсками для обеспечения безопасности

адамова голова — изображение черепа с двумя лежащими под ним накрест костями

адъютант — офицер, состоящий при командире какой-либо воинской части

азартные игры — (банк, фарон, штос и др.) — игры, в которых выигрыш или проигрыш решался случайным выпадением той или иной карты; *неазартные* (коммерческие) игры (вист, бостон, пикет и др.) предполагают умение, расчёт и т.п. навыки

аксельбант — плетёный шнур (золотой, серебряный или цветной), крепившийся к плечу, — при-

надлежность формы адъютантов и офицеров Генерального штаба

аллегория — иносказание, изображение отвлечённой идеи (понятия) посредством образа

аллопатия — обычные лечебные методы (в противоположность гомеопатии)

аллюр — пробежка, форма движения лошади. Основные а. — шаг, рысь, галоп, иноходь

алтарь — стол (престол) в храме для совершения таинства

амбар — каменное или деревянное хранилище для зерна, муки и др. имущества

амвон — в православном храме небольшое возвышение напротив царских врат; с а. читается Евангелие, произносятся проповеди

ампутация — удаление периферической части тела

амуниция — всё форменное военное снаряжение

анафема — церковное проклятие, отлучение от церкви, отвержение обществом верующих (Даль)

англез — бальный танец (участвует чётное число пар), произошёл из английского народного танца

английский парк — ландшафтный парк, имитирующий естественную, свободную, натуральную неупорядоченность, в противоположность французскому парку, геометрически правильному

антонов огонь — гангрена, омертвление тканей вследствие заражения крови

антраша — прыжок в балете, во время которого вытянутые ноги танцовщика скрещиваются в воздухе несколько раз

анфилада — длинный, сквозной ряд комнат, у которых двери или арки расположены по одной линии

апоплексия (апоплексический удар) — быстроразвивающееся кровоизлияние в головной мозг, инсульт

арапник — ременная плеть для псовой охоты

ариергард — замыкающий, последний отряд войска; охраняет отступление, затрудняет преследование основных сил армии.

артикул — зд. сборник воинских законов («Устав воинский»)

архиерей — священнослужитель епископского сана (митрополит, архиепископ или епископ), имеющий в управлении церковную область (епархию)

архимандрит — сан монашеского лица, занимающего высшие административные должности

аршин — мера длины: 0,71 м

ассигнации — бумажные деньги; как правило, курс ассигнаций был существенно меньше по срав-

нению с золотыми и серебряными монетами равного номинала

атлас — плотная шёлковая ткань с лоском.

аудиенция — официальный приём августейшей особой (монархом)

аудитор — делопроизводитель, секретарь военного суда, исполняющий и функции прокурора

аффектация — искусственное возбуждение, неестественность в жестах и манерах

балаган — зд. сарай

банник — цилиндрическая щётка для чистки ствола орудия; на другом конце был приборчик для забивания пыжа в ствол орудия

баритон — мужской голос среднего регистра (между басом и тенором)

баркарола — песнь лодочника, гребца; пьеса для инструмента или голоса

барщина — трудовая повинность крепостного крестьянина — полевые и хозяйственные работы на помещика

батальон — воинское подразделение в пехотных войсках (в гвардии — 764 чел., в армии — 738)

батарея — артиллерийское подразделение, состоявшее из трёх (конная) или четырёх (пешая артиллерия) взводов, имевшее 6—8 орудий

батист — тонкая полупрозрачная льняная или хлопчатобумажная ткань

бенефис — спектакль, сбор от которого поступал одному из актёров, или представление в честь одного из участников

бенуар — ложи в театре по обеим сторонам партера

берейтор — специалист, обслуживающий лошадей и обучающий верховой езде

бешмет — однобортная приталенная мужская одежда со стоячим воротником, длиной до колен
бивуак (бивак) — расположение войск для ночлега или отдыха под открытым небом.

бильбоке́ — игра с привязанным к палочке шариком, который ловится на острие палочки или в чашечку

благовест — колокольный звон, созывающий прихожан в храм; подразумевается, очевидно, либо литургия (10 часов утра), либо богослужение великой вечерни накануне великих церковных праздников (10 часов вечера)

богадельня — благотворительное заведение для опеки (призре- ния) лиц, не способных к труду

богоугодные заведения — учреждения для сирот, калек, больных: приюты, богадельни, больницы

бордо — сорт красного вино- градного вина

борзая — ловчая охотничья со- бака с узкой мордой, острой го- ловой, сильно развитой грудью, поджарым длинным брюхом, вы- сокими тонкими ногами; исполь- зуется для травли зайцев и др. жи- вотных.

борзятник — ловчий при бор- зых; охотник, стоящий в поле с борзыми при опушке.

бостон — неазартная карточ- ная игра

ботфорты — высокие кавале- рийские сапоги с отворотами выше колен

брандскугель — зажигательный снаряд

брегет — карманные часы фир- мы французского мастера А. Бреге

бредень — небольшой невод (сеть), который люди, идучи бродом, тянут за собой на двух шес- тах (волокушах)

бретёр — заядлый дуэлянт, за- дира, скандалист

бригада — воинское соедине- ние из двух полков

бригадир — военный чин V клас- са (после 1799 г. не жаловавшийся)

бричка — лёгкий рессорный экипаж с кожаным верхом

брульон — черновик

бруствер — небольшая насыпь, часть окопа или траншеи

буде — если, ежели

букли — завитки волос на па- рике

бурдастый — пёс с густой шер- стью около морды

буриме — стихи на заданные рифмы; игра, заключающаяся в составлении таких стихов

бурка — род плаща из мохнато- го овечьего или козьего войлока

бурмистр — управляющий по- мешичьим имением

бурнус — накидка с капюшо- ном из белой шерстяной ткани

бюро — письменный стол со скошенной столешницей и ящи- ками для письменных принадлеж- ностей

ваканция (вакансия) — незаме- щённая должность

вакация — каникулы

валашка — уроженка Валахии, княжества на юге современной Румынии

вальки — слегка изогнутые де- ревянные бруски с ручкой; при стирке вальком били в несколько раз сложенную намыленную ткань, выбивая из неё воду и пену

вальтрап — суконная попона; по цвету в. обычно соответство- вал «полковому» цвету воротника мундира; как пишет Даль, в. часто кладётся не под седло, а сверх него

вахмистр — унтер-офицер в кавалерии

вексель — денежное обязательство, долговой документ, заёмное письмо

венгерка — форменная одежда гусар: однобортная, со стоячим воротником; воротник, обшлага, карманы были выложены шнурами. В 1802 г. была заменена вицмундиром

венгерское — сорт виноградного вина

вензель — зд. изображение инициалов членов царствующего дома (на погонах, эполетах)

венская коляска — легкая четырёхместная или двухместная рессорная коляска, сделанная в Вене или по образцу собственно венской

вериги — чаще всего железная (чугунная) доска, закреплённая на груди или спине при помощи цепей; носились монахами или мирянами для умерщвления плоти

верста — русская мера длины в 500 сажений, т.е. 1,067 км

вершок — мера длины: 4,44 см

вестовой — солдат, назначавшийся для выполнения служебных поручений офицера, ухода за его лошастью и др.

вестовщик — разносчик новостей

взвод — воинское подразделение в составе роты, эскадрона или батареи (пешей); третья часть конной батареи. Командовал взводом унтер-офицер.

вздвоить — разделить надвое, на два ряда

визави — друг против друга, напротив

викарный епископ (викарий) — наместник архиерея, исполняющий его обязанности в епархии в случае отсутствия или болезни архиерея

виконт — дворянский титул в Англии, Франции, средний между бароном и графом

виктория — победа

вист — неазартная карточная игра

вихнуть (охотн.) — вильнуть в сторону, резко изменить направление бега, увернуться (о звере, преследуемом борзыми)

вицмундир — форменный повседневный мундир

водоминоа — углубление в земле, образованное потоком воды

воззриться (охотн.) — увидеть зверя и начать его преследование (о борзых собаках)

вольные хлебопашцы — бывшие частновладельческие крестьяне, освобожденные от крепостной зависимости на основании указа Александра I от 20 февраля 1803 г., согласно которому помещики получили право освобождать крестьян поодиночке или селениями с обязательным наделением их землей (за выкуп или повинности)

вольтеровское кресло — глубокое, с высокой спинкой (по имени фр. писателя Вольтера)

волюм — том

вощина — сотовый воск, сухие соты.

воперечь (поперечь) — поперёк, наперерез

вспырскивать (вспырснуть) — взлетать, подыматься на крыльях с места (о птице)

выборный — помощник старосты, отряжавший крестьян на различные работы; из крепостных, выбирался крестьянами

выездной лакей — служащий для выезда в гости или общественные места

выжлец и *выжловка* — кобель и сука породы гончих

выжлятник — псовый охотник, под наблюдением которого находятся гончие собаки; старший в. называется доезжачим

выход — обычно полуденный перерыв в официальных заседаниях, встречах

гайдук — выездной лакей высокого роста, одетый в полугусарское, полуказачье платье

галоп — быстрый конский аллор

галун — тканая золотая или серебряная тесьма на военной форме и ливреях лакеев

гардина — оконный или дверной занавес из лёгкой прозрачной ткани, закрывающий всё окно

гаубица — артиллерийское орудие со стволом средней между пушкой и мортирой длины, стреляющее навесным огнём

гауптвахта — караульное помещение с комнатами для караула, камерами для арестованных офицеров и солдат

гвардия — отборные привилегированные войска; чины гвардии имели преимущество перед армейскими в два класса; служба в гвардии (обмундирование и лошади) требовала больших расходов

гверильясы (герильясы) — участники герильи, партизанской войны в Испании

генерал-адъютант — одно из высших воинских званий в России в XVIII — нач. XX в. Учреждено Воинским уставом 1716 г. С начала XIX в. г.-а. — чин свиты императора; это звание стали жаловать за воинские заслуги и государственную деятельность

генерал-аншеф — военный чин II класса

генерал-марш — барабанный бой, сопровождающий движение войска

генерал от инфантерии — военный чин II класса; инфантерия — пехота

главная квартира — местопребывание главнокомандующего, а также совокупность лиц, управлений и учреждений главнокомандующего.

гладить (охотн.) — упустить гонного зверя, опоздать с напуском борзых

гладух — упитанный, дородный детина (Даль)

глиссад — маленький прыжок с продвижением вслед за вытянутым носком ноги, скользящим по полу

глухая исповедь — «при которой больной, лишенный языка, словами отвечать не может» (Даль)

говеть — готовиться к причащению; говение предполагает пост, воздержание, посещение всех богослужений и чтение молитв

голова — городской голова, возглавлявший городскую думу, состоявшую из шести гласных — депутатов от разных сословий

головашки саней — передняя часть

гомеопатия — лечение болезни ничтожно малыми дозами тех лекарств, которые в больших дозах вызывают явления, сходные с признаками болезни

гон — преследование зверя гончей собакой (с лаем)

гончие — охотничьи собаки, которые, найдя след зверя, преследуют его с лаем до его изнеможения или выставления на охотника

горчавка (горечавка) — общее название для 400 видов трав; наиболее частые в средней полосе России — горечавка лёгочная (с синими цветами; её иногда называют «синий зверобой») и горечавка жёлтая

гофманские капли — лекарство против тошноты, получаемое смешением 1 весовой части серного эфира с 2—3 частями винного спирта

гофскригсрат — придворный военный совет, управляющий австрийской армией

грассировать — картавить, проносить звук «р» на французский манер

гренадеры — отборная пехота из рослых, сильных солдат

гривенник — серебряная или медная монета в 10 копеек

гросфатер — старинный немецкий танец

грядки (телег) — съёмные решётчатые борта крестьянской телеги

гумно — крытая постройка с двумя-тремя воротами (для доступа ветра) для молотбы хлеба

гусары — лёгкая кавалерия

дворецкий — лицо из крепостных, заведовавшее столом, припасами и прочими хозяйственными делами в помещичьем доме

дворник — зд. хозяин постоялого двора

дворня — дворовые люди, вся прислуга в барском доме; помещення, где живут дворовые

дворовые — крепостные люди, принадлежавшие помещику и жившие в барском доме для личных услуг или специальных работ (садовники, скотники, псарь и пр.)

дебет — левая сторона бухгалтерских счетов, их приходная часть

деизм — учение, признающее Бога мировым разумом, Творцом природы, давшим ей законы и движение, но отвергающее дальнейшее вмешательство Бога в жизнь природы и общества

декламация — искусство художественного чтения

денник — загон для скота; хлев; сарай

денщик — солдат, находившийся при офицере или генерале для личных услуг

департамент — высшее подразделение центрального государственного учреждения (например, министерства); возглавлялся директором, имел несколько отделений; департаменты Государственного совета возглавляли председатели

депо — нестроевая воинская часть, команда

деревянное масло — оливковое масло низкого сорта

десница — правая рука

десть — мера счёта писчей бумаги в 24 листа

десятина — русская мера площади: 1,093 га (2400 кв. сажень) — казённая; 1,45 га (3200 кв. сажень) — хозяйственная

детва — приплод пчел: яички, гусенички и личинки (Даль)

дефиле — проход между возвышенностями, водоёмами, лесами

диадема — женское головное украшение в виде венца

дивизионер — солдат дивизиона — подразделения кавалерийского полка, состоявшего из двух эскадронов

дивизия — воинское соединение, включавшее в начале XIX века около 6 полков (нередко разных родов войск)

дилемма — затруднительный выбор между двумя равными возможностями

диспозиция — письменный боевой приказ командующего с планом сражения

доезжачий — старший псарь, распоряжавшийся собаками на охоте

донец — лошадь донской породы, отличающаяся выносливостью и неприхотливостью

допелькюммель — сорт сладкой анисовой водки

драгуны — вид кавалерии, предназначенной для действий в конном и пешем строю

дреймадера — сорт крепкого виноградного вина

дрожки — рессорный или полурессорный лёгкий экипаж

дротик — копье на коротком древке

духовник — священник, духовный пастырь какого-либо лица по его выбору

душеприказчик — лицо, согласно распоряжению завещателя принявшее на себя обязанности исполнить его волю, выраженную в завещании

дымковые платья — из дымки, тонкой прозрачной шёлковой ткани

дышло — жердь, крепящаяся к передней оси повозки; *дышловая пара* — пара лошадей в запряжке к одному дышлу

дьякон (диакон) — помощник священника при богослужении

дьячок — не имеющий сана (в отличие от священника и диакона) церковнослужитель, помогающий при богослужении: читает богослужебные книги, совершает песнопения и пр.

дядька — в дворянских семьях личный слуга-воспитатель мальчика

егеря — вид лёгкой пехоты и лёгкой кавалерии, действовавшие в рассыпном строю

единорог — артиллерийское орудие (типа гаубиц) с большим углом возвышения для стрельбы навесным огнем

ектенья — часть православного богослужения, содержащая прошения

ёрнический — от *ёра* — беспутный, туеядный человек, плут и мошенник, развратный шатун (Даль)

есаул (*эсаул*) — чин IX класса в казачьих войсках (равен капитану в пехоте и ротмистру в кавалерии)

ефрейтор — старший солдат, помощник унтер-офицера

жаба — ангина, воспаление гортани, глотки, зева, у людей и скота (Даль)

жабо — пышная кружевная отделка мужской сорочки на груди у воротника

жнивье — нижняя часть стеблей зерновых культур, оставшаяся на корню после уборки урожая

завести гончих — пустить собак по зверю с места, наиболее удобного для охоты, не спугнув при этом зверя

заводная (лошадь) — идущая в поводу

заглазное именование... — так назывались именные, в которых помещик не жил

зажоры — ямы под снегом, наполненные водой; образуются весной или в оттепель

зазимки — первые морозы осенью

заказ — заповедный лес или часть леса, в котором запрещено («заказано») охотиться, рубить деревья, пасти скот и проч.

заложиться (о борзых собаках) — завидев (подозрив) зверя, погнаться за ним

замолаживать — зд. пасмурнеть, заволакиваться тучами, клониться к ненастью

запеканка — напиток, для приготовления которого горшок со свежими ягодами, залитыми водой с добавлением сахара, закрыв-

вали, обмазывали тестом и ставили в вытопленную русскую печь
засека — поваленный лес; место, оставшееся после вырубки леса, покрытое пнями и поросшее молодыми побегами.

застрельщики — солдаты в цепи (обычно стоявшие парами: один заряжал ружьё, другой прикрывал его огнём); з. начинали огневой бой, разрушали строй противника; обычно набирались из егерей
зеленя — озимые

земский — помощник старосты, исполнявший обязанности писаря
золовка — сестра мужа

игрневый — масть коня: рыжего цвета, со светлыми гривой и хвостом

иерархия — расположение частей (элементов) целого или званий и чинов от высшего к низшему

извоз — форма отхожего промысла у крестьян: перевозка грузов или пассажиров на своих лошадях

изволок — пригорок

империял — золотая монета (10 рублей)

иноходь — ценимый в верховых лошадях ход (аллюр), когда лошадь выбрасывает вперёд сначала ноги с одной стороны, затем — с другой; *иноходец* — лошадь, которая бежит иноходью

интендант — заведующий довольствием войск

ипохондрия — необоснованная тревога за своё здоровье, болезненная мнительность

исправник (капитан-исправник) — глава уездной полиции

итальянское окно — арочное (полуциркульное) окно, разделенное на три части вертикальными перемычками. Такие окна использовали в архитектуре Север-

ной Италии в XVI—XVII вв. И. о. является характерным элементом архитектуры русского классицизма второй половины XVIII — начала XIX в.

каббалистический — таинственный, мистический

кабриолет — лёгкий рессорный экипаж с откидным верхом

кавалер — награждённый орденом

кавалергарды — полк гвардейской тяжёлой кавалерии

кавалькада — группа всадников

кадило (кадильница) — металлический сосуд с крышкой, повешенный на цепочках; в него помещаются угли и крупичи ладана и через отверстие в крышке выходит благовонный дым от ладана

казакин — мужская верхняя одежда, выше колен, приталенная, со стоячим воротником

казанская шляпа — возможно, белая татарская в виде гриба.

казённые крестьяне — крестьяне, принадлежавшие государству (казне)

казовый (конец) — предназначенный напоказ

калить орехи — запекать в вольном духу (Даль)

калмыжки (пашни) — комья, комочки

камергер — придворный чин VI класса; с 1809 г. — почётное придворное звание

камердинер — личный слуга, помогавший господину одеваться, причёсываться, бриться и пр.

камер-фурьер — должность при высочайшем дворе (в чине VI класса); вёл камер-фурьерский журнал, где отмечались все события придворной жизни

камер-юнкер — младшее придворное звание

камая — камень с выпуклою резьбою (Даль)

камзол — верхняя мужская одежда без рукавов

камлот — грубая шерстяная ткань

камчатная (скатерть) — из льняной узорчатой ткани, похожей на *камку* (шёлковую ткань с узорами)

канане — диван с обивкой и высоким изголовьем

канцлер — гражданский чин I класса, присваивался министру иностранных дел

капельдинер — служащий театра, проверяющий билеты и следящий за порядком

капельмейстер — дирижёр оркестра

капитуляция — прекращение вооружённой борьбы и сдача армии одного из воюющих государств

капор — женский зимний головной убор с лентами, завязывающимися под подбородком

капот — женская верхняя домашняя одежда широкого покроя; верхняя мужская одежда, похожая на халат

капрал — младший унтер-офицер во французской, итальянской и германской армиях; в России — до правления Николая I, когда стал называться отделенным унтер-офицером, а капральство — отделением

каптенармус — унтер-офицер, заведовавший мундирами, амуницией и пр. вещевым довольствием

карабинеры — солдаты лёгкой кавалерии; отборные стрелки в пехоте и кавалерии

каре — боевой порядок построения пехоты в виде одного или нескольких квадратов

картечь — артиллерийский снаряд, начинённый чугунными пулями, при выстреле из орудия вылетающими снопом из ствола

карьер — самый быстрый аллюр (ход) лошади

кауры́й (о лошадях) — рыжеватой или светло-бурой масти с такими же гривой и хвостом и с тёмным «ремнём» по хребту

кацавейка — см. *куцавейка*
квартильный (надзиратель) — полицейская должность; в ведении к. н. находился участок города — квартал

квартирьеры — офицер или нижний чин, высылаемый вперёд для поиска квартир, отыскания дров, мест водопоя лошадей и пр.

кивер — военный головной убор: высокий, слегка расширяющийся кверху, с кожаным козырьком и подбородным ремнём

кивот (киот) — шкафчик или застеклённая рама для одной или нескольких икон

кичкиры — см. чикчиры
клавикорды — старинный клавишно-струнный инструмент XV—XVIII веков, предшественник фортепиано

клирос — возвышение в церкви для хора

клобук — головной убор монахов: чёрный кусок ткани на камилавке (головном уборе в форме расширяющегося цилиндра). У митрополитов и патриарха — белый к.

ковёрная — мастерская, где ткали ковры

козловые (туфли) — из сафьяна, т.е. выделанной козьей шкуры

коленкор — хлопчатобумажная ткань

колет — короткий, застёгивающийся на крючки мундир из белого или палевого сукна

коллежский асессор — гражданский чин VIII класса

колодезня (улья) — покрывка, крышка

колодка (улья) — цельный долблёный улей (Даль).

колодник — узник, заключённый

колотовка — зд. сварливая женщина

колчи (пашни) — комья земли

команда — штатная — небольшая, самостоятельная воинская часть; нештатная — временно отделённая от воинской части.

комиссионер — зд. служащий военного комиссариата, ведавшего снабжением армии

конногвардейцы — полк гвардейской тяжёлой кавалерии

коновязь — устройство для привязки лошадей на открытом воздухе: колья с протянутою по ним веревкою (Даль).

консилиум — совещание врачей, обсуждающих диагноз и лечение пациента

консистория — церковно-административное учреждение с судебными функциями

конфиденциально — доверительно, секретно

коренник — лошадь, впрягаемая в оглобли; средняя лошадь в тройке

корнет — военный чин XIII класса в кавалерии (соответствовал прапорщику в пехоте)

корпия — нащипанные из тонкого полотна нити, использовавшиеся при перевязках вместо ваты

корпуленция — телосложение

корпус — воинское соединение из нескольких дивизий

корсаж — верхняя часть женского платья

корчма — кабак (не на откупе, а вольной торговли). Принадлежал помещику, но содержался корчмарём-арендатором; одновременно являлся постоянным двором

котильон — бальный танец-игра французского происхождения; объединяет вальс, мазурку, польку и др.

краля — видная, красивая женщина, красно убранная (Даль)

красное дерево — древесина некоторых деревьев, преимущественно тропических, для изготовления высших сортов столярных изделий

красный лакей — камер-лакей (придворный служитель) в парадной livree

кредит — правая сторона бухгалтерских счетов, расходная их часть

кремортартар — белый винный камень, получаемый из налёта, образующегося на стенках сосуда с молодым вином; употреблялся как зубной порошок и как составная часть при изготовлении некоторых мазей и присыпок

кровая лошадь — с родословною, известного племени, породы, скаковая, рысистая и т.д. (Даль)

круп (лошади) — наиболее широкая часть спины лошади.

крючок — мерка для водки в одну чарку (0,123 л.) на длинной ручке с крючком

куверт — столовый прибор

кулебяка — большой пирог с мясом или рыбой

кунсткамера — собрание редкостей; петербургская Кунсткамера была открыта по велению Петра I в 1719 году

купно — совместно

куранты — старинное название башенных или больших комнатных часов с музыкальным механизмом, издающих бой в определённой мелодической последовательности.

курьерские лошади — запасные (резервные) лошади, сберегаемые на почтовых станциях для правительства курьеров, ехавших без остановок, без задержек

кутас — шнуры и плетушки на кивере (Даль)

кутейник — ироническое прозвище выходцев из духовного сословия и церковнослужителей (от кутья — каша с изюмом — ритуальное блюдо на поминках)

куцавейка (кацавейка) — распашная короткая кофта, подбитая или отороченная мехом

кушак — пояс (матерчатый или из шнура), принадлежность форменной одежды

лабаз — помещение для хранения товара и торговли

ладан — благовоние, употребляющееся при богослужении

ладанка — небольшая сумочка (мешочек) со святыней; носилась на шее вместе с крестом

лаз (охотн.) — место, по которому должен пройти вспугнутый на охоте зверь; лазы определяются перед началом охоты и занимаются охотниками с ружьями или борзыми собаками

лампада — небольшой светильник перед иконой

ларь — большой ящик с навесной крышкой

лафет — пушечный стан, станок под артиллерийское орудие

легитимист — приверженец свергнутой династии, сторонники законной власти

лейб-гусар, *лейб-улан* — первая часть слова (лейб-) означает «стоящий при монархе»

лейденская банка — простейший конденсатор в форме стеклянного цилиндра, оклеенного листовым оловом снаружи и изнутри; разряд получается соединением внешней оболочки с внутренней

лексикон — словарь

леток — скважина, дыра в улье, для входа и выхода пчел, лазок (Даль)

либерал — вольнодумец, свободно мыслящий человек

ливеря — форменная одежда лакеев и швейцаров: длинный кафтан, расшитый галунами

линейные войска — пехотные войска, сражавшиеся сомкнутым строем, главным образом, в штыковых атаках

линейка — открытый экипаж, в котором пассажиры сидят боком по направлению движения

ловчий — распоряжающийся охотой

ломбардный билет — ценная бумага, выдававшаяся ломбардом; использовался как платёжное средство

ломберный стол — небольшой лёгкий стол, обычно раскладной, покрытый зелёным сукном, для игры в карты

лорнет — складные очки с ручкой

лосины — штаны в обтяжку из белой лосиной замши

лощина — низменность, низко расположенная долина

лука (*седла*) — деревянная или железная дужка, ограничивающая седло спереди и сзади

магнат — вельможа, весьма богатый столбовой дворянин высшего круга

мадера — сорт крепкого виноградного вина

майор — военный чин VIII класса

мамелюки (мамлюки) — гвардия египетского султана; в Египетской экспедиции Наполеон разбил войска султана; один из пленных м. — Рустан — стал его телохранителем

мамушка, *мамка* — кормилица

манёвры — боевые передвижения войск с применением к местности и производством стрельбы как во время военных действий, служат проверкой успешности подготовки войск

манерка — солдатская жестяная походная фляга для воды

манифест — обращение главы государства (монарха) к населению в связи с важным политическим событием

мантилья — короткая женская накидка без рукавов

мантия — длинный плащ, парадное одеяние монархов, высших служителей церкви

маркитант — мелкий торговец, сопровождавший армию в походе
марш-марш — самая быстрая езда

маршал — высшее воинское звание во Франции начала XIX века
масакá — ткань темно-красного с синеватым отливом или иссиня-малинового цвета

матёрый (зверь) — опытный, возмужалый, сильный
махальный — дозорный-сигнальщик

мга — сырой, холодный туман
меланхолия — болезненно-угнетённое состояние, тоска

меморандум — зд. докладная записка по какому-то вопросу

ментик — короткая гусарская куртка, опушённая мехом, отделанная шнурами по спинным швам, на груди и на обшлагах

мерин — выхолощенный конь
месячина — зд. ежемесячное продовольственное содержание дворовых, не имевших своего полевого хозяйства

метампсихоза (метемпсихоза) — учение о переселении душ, о переходе после смерти одного существа в другое

метафизика — философское учение о недоступных опыту (сверхчувственных) сферах и принципах устройства бытия

метрдотель — главный официант, распорядитель в ресторане

мечеть — молитвенный дом у мусульман

миля — единица длины: морская — 1,852 км; сухопутная — 1,609 км

миро — деревянное масло с красным вином и благовониями, употребляемое в христианских обрядах

митрополит — одна из высших степеней священства

монумент — памятник или несколько памятников, образующих мемориальный ансамбль

моравы — жители Моравии, части Австрийской империи; ныне область Чехии

мох — тонкая, мягкая опушка, декоративный элемент одежды

мощи — нетленные тела (мучеников, святых) или их части

мундштук (у лошади) — прибор для взнуздывания лошадей, особенно верховых; удила с подъемною распоркою под нёбо и с цепочкою под бородою (Даль)

муругий (об охотн. собаках) — рыже-бурый или буро-чёрный

мушкетёр — солдат пехотных полков (кроме гренадерских)

мушкетон — короткоствольное ружьё с раструбом на конце ствола
мышастая — серовато-сизого, пепельного цвета

назём — навоз

наливка — напиток, изготавливаемый настаиванием ягод на спирте (водке) с прибавкой сахара

нанка — дешёвая плотная грубая хлопчатобумажная ткань желтоватого оттенка или серая

натечь — напасть на след зверя

невестка — жена сына, брата
непрезентабельный — непредставительный, жалкий

ноктюрн — музыкальное произведение лирически-мечтательного характера, исполнявшееся изначально на открытом воздухе в вечернее или ночное время
нота — официальный дипломатический документ (заявление, уведомление и т.п.)

обер-гофмаршал — придворный чин II класса; в ведении о.-г. находились конторы, ведавшие довольствием двора, устройством приёмов и путешествиями

обер-интендант — высшее должностное лицо, ведающее снабжением войск

обер-провиантмейстер — заведующий продовольствием корпуса или отдельной части (Даль)

обер-шталмейстер — придворный чин II класса, заведовал придворной конюшней и экипажами
облическое (движение) — обходное

образá — иконы

оброк — денежная или натуральная (плата продуктами) повинность крепостного крестьянина перед помещиком.

обручение — стовор, помолвка, церковный обряд, во время которого жениху и невесте надевают кольца

овин — постройка для сушки снопов перед молотью

оглобли — круглые в сечении деревянные длинные жерди, соединяющие сани (телегу, экипаж) с дугой и (через гужи) с хомутом лошади

одонья — круглые клады хлеба в снопах

озимые — культуры, которые сеют в грунт осенью (под зиму) и убирают в первой половине лета

оклад (иконы) — риза, металлическое чеканное обрамление

оператор — хирург

ополчение — войско, дружина, рать, особенно народная, собранная по чрезвычайному случаю (Даль)

оппозиция — противодействие, противопоставление; партия или группа, выступающая вразрез с господствующим мнением

орарь — широкая и длинная парчовая лента, украшенная крестами — часть облачения диаконов

оргия — буйное пиршество, кутёж

ординарец — офицер или нижний чин, состоящий при военачальнике для поручений

орловский рысак — одна из двух пород лошадей, передвигающихся

только рысью (в России известны ещё русские рысаки)

остров (охотн.) — небольшой лес или роща, окружённые полями, стоящие отдельно

острог — тюрьма, арестантская, здание, окружённое частоколом из заострённых столбов или стеною, где содержат узников; тюремный замок

отвершек — боковой овражек, впадающий в главный овраг.

отводы — лёгкие жерди, закреплённые по бокам саней

откупщик — лицо, получившее (купившее) право производства, закупки и торговли вином, поставляя в казну договорённую сумму и пользуясь чистым доходом

отпазничить — отрезать у затравленного зайца пазанку (см.) и награждать ею собаку

отсесть (охотн., о звере) — оторваться от преследующей борзой собаки — либо нарастив скорость, либо прыгнув в сторону

оттоманка — мягкий диван с подушками, заменяющими спинку, и двумя валиками

оттопать (охотн.) — отогнать, отпугнуть зверя от опушки, воротить в поле

отъём — небольшой лес или болото, отделённое полями

паж — зд. мальчик благородного происхождения, назначенный для услуг особам императорской фамилии

пазанка (охотн.) — часть заячьей лапы, которая даётся на месте охоты в качестве поощрения собаке, затравившей зайца

палата (казённая, гражданско-го суда) — орган для рассмотрения дел, решённых в нижестоящих сословных судах, утверждения купчих крепостей и др.

палуб — тяжёлая артиллерийская повозка под несколько лошадей для перевозки снарядов и зарядов

пальник — железный стержень около 1 м с зажимом на конце,

куда вставлялся фитиль для поджигания оружейного запала

панаш — пучок страусовых перьев, служивший для украшения шляпы, шлема

панишотки — жгутики из бумаги, тряпочки и т.п., на которые наматывают волосы для завивки

парк — артиллерийские строевые части, хранящие и доставляющие боеприпасы и вооружение

парламентёр — официальный представитель одной из воюющих сторон, направленный для переговоров с другой стороной

партер — места для зрителей в театре, обычно ниже уровня сцены

пассаж (в музыке) — последовательность звуков в быстром движении, часто трудная для исполнения

паяс (паяц) — балаганный шут, клоун

пегий — пятнистый

педантизм — мелочная точность, формализм

пелерина — накидка на плечи, неходящая до пояса

пеньюар — утреннее лёгкое платье или свободная кофта с белой кисейной юбкой

перевязь — широкий ремень для ношения через плечо сумки для патронов

перекладные (сани) — т.е. сани, в которые запрягали на почтовых станциях переменных лошадей; ехать *на перекладных* — менять лошадей на станциях; ехать *на долгих* — на своих лошадях, не меняя их, а давая им отдохнуть на каждой станции

перл — жемчужина

перст — палец (церк.-слав.)

печатная молитва — текст молитвы, который при совершении

похорон по православному обычаю кладут в гроб вместе с покойником

пикет — карточная неазартная игра

пикет (воен.) — небольшая воинская часть, выдвинутая вперёд, для поддержки часовых

пластун — казак-разведчик

плёрёзы (плерезы) — траурные нашивки на платьях

плюмаж — украшение из перьев на головных уборах, в частности на генеральских треугольных шляпах

плюш — ткань с мягким длинным ворсом

повиснуть (охотн.) — догнать преследуемого зверя и бежать врознь с ним, не отставая, но и не пытаясь схватить его

погребец — дорожный сундучок для чайной посуды, столовых приборов, вина и пр.

подать голос (охотн.) — гончая подаёт голос, когда первый раз влзаивает, почуяв свежий след зверя или погнав его. Опытный охотник по голосу собаки определяет, какого зверя она гонит

подвёртки — кусок тряпки, которой обматывают ноги под сапоги

подозреть (охотн.) — заметить, увидеть зверя (как правило, о борзой собаке)

подпоручик — офицерский чин XIII класса

подпруга — широкий двойной ремень у верхового седла, охватывающий брюхо и бока коня

подрезы — железные полосы, прибиваемые к низу санного полоза

подсед (осиновый) — молодая поросль

подстава — заранее заготовленные по дороге свежие лошади для перепряжки уставших

подбездок — лошадь, только начавшая ходить под седлом

покромки — кромка, крайняя полоса; продольный край ткани (Даль)

полк — основное воинское соединение; пехотный полк состоял из трёх батальонов

полка (ружья) — часть затвора для насыпания пороха в старинных кремневых ружьях и пистолетах для воспламенения заряда

помкнуть (охотн.) — дойдя с помощью чутья по следу до места лёжки зверя, поднять его и гнать с голосом, преследуя на небольшом расстоянии (говорится о гончих собаках)

помочи — то же, что и подтяжки

понеже — потому что

порскать (охотн.) — криком награвливать гончих на зверя (Ожегов); криком и хлопаньем арапника выставлять зверя в поле (Даль)

поручик — офицерский чин XII класса

посконный — из поскони, грубой ткани, изготовленной из конопли

постой (военный) — расквартирование, стоянка воинских частей в частных домах

постромки — толстый ремень или верёвка, идущий от хомута к вальку (круглому бруску) у запряжённых лошадей

прапорщик — низший (XIV) класса офицерский чин

предводитель дворянства (губернский, уездный) — должностное выборное лицо дворянского самоуправления; избирался на дворянских собраниях (раз в три года); губ. предводители утверждались императором из двух кандидатур, получивших наибольшее число голосов, остальные кандидаты на выборные должности — губернатором. Служба по выборам приравнивалась к государственной службе (губернский предводитель соответствовал IV классу, уезд-

ный — V кл.). Жалованье не полагалось, но расходы на разъезды и приёмы были большими

прелюдия — вступление к музыкальному сочинению

префект — глава администрации или городской полиции

придел (в церкви) — пристройка со своим алтарём

приказный — ироническое прозвание мелкого канцелярского чиновника

принципал — глава, хозяин

пристяжная — лошадь, идущая в пристяжке, запрягаемая в пристяжку, то есть сбоку от коренника (см.)

присутственные места — губернские или уездные государственные учреждения

причастие (причащение) — одно из таинств христианской церкви: молящийся получает хлеб и вино, которые пресуществляются в Тело и Кровь Господни; таким образом он делается «сотелесником» Христа

причетник — общее название церковнослужителей (кроме священника и диакона): дячок, чтец, псаломщик, пономарь; обязанность п. — чтение из богослужебных книг и пение на клиросе

причт — белое духовенство, служащее в храме: священник, диакон, псаломщики и др. причетники

прокламация — воззвание, обращение агитационного характера

пропозиция — предложение

протекция — влиятельная поддержка кого-либо в устройстве чьих-либо дел

протодиакон — первый или главный диакон в кафедральном соборе

протоколист — должность в губернских и уездных правлениях; п. составлял журналы заседаний

прусаки — тараканы
Псалтырь — богослужбная книга псалмов — духовных стихов; по покойнику п. читалась круглосуточно, до погребения
пуд — русская мера веса — 16,38 кг (40 фунтов)
пудромантель (пудромант) — широкая накидка на плечи, предохраняющая костюм от пудры во время причёсывания
пуниш — горячий напиток из рома с водой, сахаром, пряностями, вином
пяльцы — рама для вышивания или два лёгких кольца, входящих друг в друга, на которые натягивалась ткань
райк — верхний ярус в театре, самые дешёвые места
разгонные лошади — предназначенные для езды, поездок
ракаля (ругательство) — негодай, мерзавец, подлец
рампа — бортик вдоль авансцены, скрывающий осветительные приборы
распашной — носимый без застёгивания, с запахивающимися полами.
расстриженный поп (расстрига) — лишённый сана за уголовное преступление либо за пороки и проступки
ратник — воин ополчения, набравшегося во время войны
раут — вечерний приём без танцев
редингот — верхняя одежда типа однобортного пальто
редут — полевое земляное четырёх- или пятиугольное укрепление
рейнвейн — рейнское (по месту производства) виноградное вино
рекогносцировка — осмотр местности и расположения противника лично командующим и офицерами штаба

рекрут — лицо, призываемое на военную службу
реляция — военное донесение
ремарки — зд. заметки
ремонт — пополнение количества лошадей в воинских частях
рескрипт — особая форма письма монарха к подданному с поручением, благодарностью и проч.
рессоры — упругие металлические полосы крепления кузова экипажей, вагонов и др. к осям для уменьшения тряски
ретирада — отступление
ридиколь — большая дамская сумка для рукоделия, обычно матерчатая, затягивающаяся шнуром
риза — парчовое, тканное золотом или серебром одеяние без рукавов, облачение священнослужителей
ризы киота — золотой, золочёный или серебряный оклад на иконе, прикрывающий всё изображение, кроме лика и ладоней
ритор (в масонстве) — ведающий обрядом посвящения новичка (принятия в ложу)
роба — пышное старинное парадное платье.
роббер — в некоторых карточных играх законченный круг игры
роброн — широкое платье колоколообразной формы с фижмами
ростбиф — поджаренный кусок говядины
ротмистр — военный чин IX класса в кавалерии, соответствовал капитану в пехоте
роялист — (во время французской революции) — приверженец династии Бурбонов
рубщице — ветхая, истасканная одежда, лохмотья
рундук — мощёное возвышение, с приступками; род ларя, крытой лавки с подъёмной крышкой (Даль)
рысак — см. *орловский рысак*
рысь — конский аллюр, более быстрый, чем шаг
ряженные — одетые в маскарадные костюмы участники святочных гуляний

саврасые — лошади рыжеватые, с тёмным хвостом и гривой, с так называемым «ремнём» по хребту

сажень — русская мера длины: 3 аршина, т.е. 2,13 м

сало — верхняя женская одежда (на меху или на вате) с прорезями для рук или с небольшими рукавами

сангвинический — характеристика темперамента — быстро возбудимого и легко меняющего эмоции

сардонический — злобно-насмешливый, язвительный

сафьян — окрашенная в яркий цвет кожа; высшие сорта выделялись из козьих шкур, низшие — из овечьих и телячьих

сбитень — горячий напиток с мёдом и пряностями

свайка — старинная народная игра, в которой нужно толстый гвоздь или шип (свайку) воткнуть в землю, попав при этом в кольцо *свалить* (стаи) — соединить их (охотн.)

свёкор — отец мужа

свитский офицер — офицер свиты императора

свора — две борзые собаки или две пары борзых на сворке, на которой их водит борзятник

сворка — бечёвка, ремень, цепь, на которой водят свору собак

свояченица — сестра жены

святки — 12 дней от Рождества до Крещения (с 25 декабря по 6 января)

сдаточные — лошади вольных (а не казённых, почтовых) ямщиков, которые довозили пассажира до определённой станции и там передавали другому

севрская (чашка) — из фарфора севрской фабрики (Севр, близ Парижа)

септима — интервал в семь звуков

серники — серные спички

сидельцы — торговцы в лавке или в кабаке (по доверенности от хозяина)

Синод — государственное учреждение, управляющее делами Церкви

скуфья — головной убор духовных лиц: высокая четырёхугольная мягкая шапка с округлым верхом

смушки — шкурка новорождённого ягнёнка некоторых ценных пород

смычок (охотн.) — 1) две гончие собаки, приученные к совместной работе по зверю; 2) ошейник, состоящий из двух обычных ошейников, соединённых цепочкой. На таких ошейниках гончих (со-смыченных) вели к месту охоты

снурки (шнурки) — шнуры (жгуты), которыми была отделана форменная военная одежда (например, у гусар)

соборне — сообща, со многими священниками (о проведении богослужения)

соборование (епископосвящение) — одно из таинств христианской церкви, совершаемое над умирающими после покаяния ради их исцеления и прощения тех грехов, в которых больной не успел покаяться

соловый — конская масть: жёлто-золотистого или песочного цвета с белыми хвостом и гривой

сомнамбула — лунатик

соната — музыкальное произведение, состоящее из 3-х или 4-х контрастирующих частей, объединённых общим замыслом

сословие — социально-юридическая категория населения. В России различались дворянство, духовенство, купечество, мещанство, крестьянство, казачество и др

сострунить (охотн.) — лишить пойманного борзыми волка или

лису возможности двигаться, чтобы привезти его с охоты живым. Связывают сначала передние, а затем задние лапы, затем челюсти, вложив между ними деревянный брусок. Так зверя несут или везут на лошади

сопе — кушанье под соусом

софизм — ложное по существу умозаключение, формально кажущееся правильным, основанное на преднамеренном нарушении правил логики

сочельник — канун Рождества либо Крещения Господня; время строгого поста, продолжающегося до появления первой звезды.

сошки — стойки с горизонтальной перекладиной для установки ружей

спеть (доспеть) (охотн., о борзых собаках) — гнаться, приближаясь, настигать зверя

станина — неподвижное основание, на котором располагаются связанные между собой отдельные части машины (орудия)

становой пристав — чиновник уездной полиции, заведующий станом — определённой частью уезда; подчинён исправнику; должность введена в 1837 г.

станция почтовая — учреждение на шоссе и трактах; представляла постройку с двумя отделениями — для станционного смотрителя с семейством и для проезжающих. При п.с. находились конюшни, каретный сарай и пр. хозяйственные постройки

староста — выборный или назначенный помещиком, руководил сельским сходом и служил посредником между крестьянами и помещиком

статский советник — гражданский чин V класса

стегно — бедро

стихарь — часть облачения диаконов: длинная широкая одежда с расширяющимися рукавами; обшивается лентами и украшается крестами

стремянной (стремянный) — слуга, верхом сопровождающий барина в конной поездке, обычно на охоте, подающий ему стремя

ступица — центральная часть колеса, имеющая отверстие для посадки на вал или ось

субалтерн-офицер — младший офицер в роте (в чине до капитана)

субординация — система служебного подчинения младших старшим

султан (на шляпе) — часть военного головного убора из петушиных перьев

сурьма — чёрная краска

суфлёр — работник театра, следящий за ходом спектакля по тексту пьесы и подсказывающий в случае необходимости слова артистам

сфинкс — зд. фигурка, изображающая фантастическое существо с телом льва и головой человека

сюртук — верхняя мужская одежда. Офицеры и генералы вне строя носили с мундирного сукна с воротником и обшлагами полковых цветов. На службе и при официальных визитах полагалось быть во фраке или в мундире

таинства — священные действия, в которых сообщается верующим невидимая благодать Божия

ташка — гусарская плоская сумка

темляк — ременная или ленточная петля на эфесе сабли, шашки, шпаги или палаша, надеваемая на руку, чтобы выбитое из руки оружие не упало

тенета — сети для ловли зверей и птиц

тесак — холодное оружие — короткий клинок; состоял на вооружении пехоты

титлы (в словах) — надстрочные знаки в церковнославянских книгах; означают сокращение слова, например: *Ис* под титлом (̃) значит «Иисус»

товарка — подруга, приятельница, участница в деле

тока (ток) — маленькая женская шапочка без полей, украшенная лентами, кружевами, искусственными цветами

торбан — струнный инструмент, родственник бандуре

торжковское шитьё — вышивание золотыми и серебряными нитями по сафьяну, бархату, сукну; народный промысел жителей города Торжка.

торока — ремешки позади седла у луки для привязывания чего-либо

торочить — подвязывать к седлу

тортю — «(tortue) буквально — черепаха; здесь — по-видимому, черепаховый суп или блюдо, запекаемое и подающееся в черепаховом панцире или такой же формы посуде» [СС—22. Т. V. С. 393]

травник — водочная настойка на травах и корнях

трензель — железные удила, которые при натягивании прикрепленных к ним поводьев упираются в небо лошади, заставляя её поднимать голову, останавливаться, поворачиваться (от нем. *Trense* — удила)

трепак — пляска с дробным топотом, мелкий перебор и топотня ногами (Даль).

трунить — шутить, насмехаться, подшучивать, подымать на смех (Даль)

трутень — мужская особь пчелы, не добывающая мёда

трюмо — высокое зеркало, обычно помещаемое в простенке
туры — большие плетёные корзины без дна; насыпались землёй и прикрывали людей и орудия от огня

тычок — кабак

тягло — крестьянская семья с земельным наделом; по числу т. (а не по числу собственно крестьян) рассчитывались налоговые и другие обязательства владеющего ими помещика.

увертюра — оркестровое вступление к театральному спектаклю
угодник — в христианской церкви — святой, угодивший Богу непорочной жизнью

угонка (охотн.) — момент, когда борзая пытается достать зверя, в результате чего зверь вынужден делать крутой поворот, что сокращает путь другим собакам и ведёт к поимке зверя

угорь (угор) — пригорок, высокое место на равнине

ужин — количество хлеба в снопах, в соломе сравнительно со средним (Даль).

узурпатор — лицо, незаконно захватившее в свои руки власть

уймище — густой, протяжённый, глухой лес

уклочься (Даль)

улань — вид лёгкой кавалерии; предназначались для преследования неприятеля, рейдов в тыл врага, патрульной и разведывательной службы; имели пики с флажками (флюгерами) и особенную униформу

умолот — урожай в зерне

унтер-офицер — нижний чин в армии, младший командир

фанаберия — ни на чём не основанная кичливость, спесь, мелкое чванство

фараон — азартная карточная игра

фатализм — вера в безличную судьбу, в неизменное предопределение всех событий в мире

фейерверкер — унтер-офицерский чин в артиллерии

фельдмаршал (генерал-фельдмаршал) — воинское звание I класса

фельдфебель — унтер-офицер в пехоте и артиллерии

фижмы — каркас в виде обруча из китового уса, вставляемый в юбку

филантропия — благотворительность, бескорыстная помощь нуждающимся, человеколюбие

филиация — связь, преемственность

фланкёры — всадники, прикрывавшие от обходов фланги кавалерии

флеш — лёгкое полевое укрепление из двух валов, сходящихся под углом

флигель — строение в стороне от главного дома или пристройка к нему

флигель-адъютант — офицер из свиты императора

флюгера пик — флажки на пике
форейтор — в запряжке четверной или шестерной подручный кучера, сидевший в особом седле на одной из передних лошадей; как правило, подросток или малолетний мужчина

форштан — грузовая повозка
фрейлина — придворное звание для девушек или незамужних женщин, состоявших в свите императриц и великих княгинь

фризовая (шинель) — из грубой дешёвой шерстяной ткани со слегка вьющимся ворсом

фрондировать — противоречить, выражать недовольство

фронт (фрунт) — строй войск, построение

фронтон — верхняя часть фасада здания, треугольник, образо-

ванный скатами крыши и карнизом у основания

фуга — музыкальное произведение, основанное на многократном проведении одной или нескольких тем во всех голосах

фура — большая, как правило, грузовая крытая повозка

фуражировка — заготовка корма для лошадей армии

фурман — владелец или возчик фуры

фуриатский солдат — солдат армейского обоза

химера — зд. фантазия, неосуществимая мечта

хобот (орудия) — рычаг, вставляемый сзади, для поворота, в стенок пушки (Даль)

хорунжий — офицерское звание XIV класса в казачьих войсках

хоры — открытая галерея на колоннах, балкон в верхней части зала

хребтук — специальные приспособления для кормления лошадей во время похода, сделанные из мешков, привязанных к оглоблям

хроматическая гамма — 12 идущих подряд звуков в пределах октавы (с интервалом в полтона)

царские двери — двустворчатые двери в иконостасе, ведущие к престолу; во время Божественной литургии с.д. раскрываются. Войти в них могут только священники

целковый — серебряный рубль

целовальник — торгующий в кабаке по доверенности от владельца или государства; называется так от обряда целования креста — клятвы соблюдать обязательства

цеп — орудие для молотбы хлеба: две круглых палки, соединённых ремнём

церемониальный марш — торжественное прохождение войск перед начальствующими под звуки музыки

цесаревич — великий князь, наследник престола

цибик — ящик для перевозки чая, обшитый сыромятной кожей

цимбалы — многострунный ударный инструмент в деревянном корпусе

циркуляр — общее распоряжение, сообщаемое всем подчиненным частям управления

цуг — запряжка в четыре или шесть лошадей парами

частный (пристав) — полицейский обер-офицер, надзирающий за частью (районом) города

чекмень — мужская верхняя казакская одежда вроде казакина

чепрак — то же, что и вальтрап, но всегда кладётся под седло

четверть — 1) русская мера длины, равная 4-м вершкам, т.е. 17,7 см; 2) мера сыпучих тел, равная 209,9 л. 3) бутылка для вина объёмом 1/4 ведра (3,07 л)

чикчиры — гусарские форменные брюки

чинёнка — снаряд, граната, начинённые порохом

чистопсовый — то же, что и чистокровный (о борзой собаке)

чубук — длинный деревянный мундштук, узкая трубочка, на которую насаживалась курительная трубка

чуйка — суконный кафтан без воротника, обшитый по краю полской ткани или меха; одежда крестьян, мещан, купцов

чумбур, или чембур — повод удечки, на котором держат, водят или привязывают коня

шарф — знак офицерского достоинства, носился на талии

швальня — портняжная мастерская в роте, в полку

шестериком (запряжка) — в шесть лошадей цугом

шифоньерка — шкафчик для белья и мелких вещей

шифр — знак фрейлинского достоинства: золотой вензель императрицы или великой княгини, при которой состоит фрейлина, увенчанный короной, на голубой андреевской ленте

шляя — часть конской упряжи: ремень, охватывающий конский круп и удерживающий хомут от сползания вперёд

шомпол — металлический прут для чистки ствола и для зарядания ружья

штаб-офицер — имеющий чин от VIII до VI класса

штабс-ротмистр — чин X класса в кавалерии

штабс-капитан — офицерский чин X класса в пехоте и артиллерии

штоф — зд. декоративная ткань со сложным тканым крупным рисунком, используемая для обивки мебели, стен, а также для занавесей

шурин — брат жены
эзекуция — телесное наказание

экосез — бальный танец с чётным количеством танцующих пар, расположенных одна напротив другой (произошёл из шотландского народного танца)

эксельбант — см. аксельбант
эманципация (эмансипация) — освобождение (зд. крестьян)

англизированная (лошадь) — чистокровная лошадь с подрезанными гривой, хвостом и щётками на ногах (на английский манер)

эполеты — наплечные знаки различия чинов и родов войск

эригерцог — титул австрийских монархов (1453—1804), а затем (1804—1918) — принцев

эсаул — см. есаул

эскадрон — подразделение в кавалерии, соответствующее пехотной роте (гвардейский — 160 всадников, армейский — 150)

эфес — рукоять сабли, шашки, шпаги с защитным приспособлением (гардой)

юнкер — рядовой или унтер-офицер из дворян

юрага — сыворotka, остающаяся после сбитого масла

якобинец — зд. революционер, сторонник радикальных мер

яровые — зерновые растения, высеваемые весной и дающие урожай в год посева.

яхонт — старинное название рубина и сапфира

ящичный вожатый — солдат или унтер-офицер артиллерийского расчёта

Список условных сокращений

- ПСС—100* — Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 100 т. М., 2000 — (издание продолжается).
- ПСС—90* — Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1928—1958.
- ЛН* — Первая завершённая редакция романа «Война и мир» // Литературное наследство. Т. 94. М., 1983.
- СС—22* — Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. IV—VII (комментарии Н.М. Фортунатова и Г.В. Краснова).
- Переписка* — Толстой Л.Н. Переписка с русскими писателями: В 2 т. М., 1978.
- Альтман* — Альтман М. У Льва Толстого. Тула, 1980.
- Анненков* — Анненков П.В. Исторические и эстетические вопросы в романе гр. Л.Н. Толстого «Война и мир» // Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» в русской критике. Л., 1989.
- Апостолов—1928* — Апостолов Н.Н. Лев Толстой над страницами истории. М., 1928.
- Асмус—76* — Асмус В.Ф. Философия истории в романе «Война и мир» // Яснополянский сборник 1976. Тула, 1976.
- Ахшарумов* — Ахшарумов Н.Д. «Война и мир». Сочинение гр. Толстого. 1—4 части // Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» в русской критике. Л., 1989.
- Бантыш-Каменский* — Бантыш-Каменский Д.Н. Словарь достопамятных людей Русской земли <...>. Ч. 1—3. СПб., 1847.
- Бахтин—1979* — Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979.
- Бахтин—2000* — Бахтин М. Эпос и роман. СПб., 2000.
- Берлин* — Берлин И. Ёж и лиса. Эссе о взглядах Толстого на историю // Исаяя Берлин. История свободы. Россия. М., 2001.
- Блудилина* — Блудилина Н.Д. «Записки современника» С.П. Жихарева и художественный контекст «Войны и мира» // Толстой и о Толстом. М., 1998.
- Богданович* — Богданович М.И. История Отечественной войны 1812 года по достоверным источникам. Составлена по высочайшему повелению. Т. I—III. СПб., 1859—1860.
- Бочаров—1963* — Бочаров С. Роман Л. Толстого «Война и мир». М., 1963.
- Бочаров—1985* — Бочаров С.Г. «Мир» в «Войне и мире» // Бочаров С.Г. О художественных мирах. М., 1985.

- Бурнашёва — Бурнашёва Н.И.* Как Николай Ростов отомстил за Николаеньку Иртеньева // Бурнашёва Н.И. «...Пройти по трудной дороге открытия...». Загадки и находки в рукописях Льва Толстого. М., 2005.
- Бутурлин — Бутурлин Д.П.* История нашествия императора Наполеона на Россию в 1812 году. Ч. I. 2-е изд. СПб., 1837.
- Виноградов — Виноградов В.* О языке Толстого // Литературное наследство. Т. 35—36. Л.Н. Толстой. Кн. I. М., 1939.
- Витмер — Витмер А.* 1812 год в «Войне и мире». СПб., 1869.
- Вяземский — Вяземский П.А.* Воспоминания о 1812 годе // П.А. Вяземский. Стихотворения. Воспоминания. Записные книжки. М., 1988.
- Галаган — Галаган Г.Я.* Л.Н. Толстой. Художественно-этические искания. Л., 1981.
- Гачев — Гачев Г.Д.* Содержательность художественных форм. М., 1968.
- Герцен — Герцен А.И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1954—1956.
- Глинка — Глинка С.* Записки о 1812 годе Сергея Глинки, первого ратника московского ополчения. СПб., 1836.
- Ф. Глинка — Глинка Ф.* Очерки Бородинского сражения, воспоминания о 1812 годе: В 2 ч. М., 1839.
- Ф. Глинка 2 — Глинка Ф.* Письма русского офицера... М., 1815—1816.
- Горький — Горький М.* Полн. собр. соч.: В 25 т. М., 1968—1975.
- Грызлова—1978 — Грызлова И.К.* Один из источников «Войны и мира» // Яснополянский сборник 1978. Тула, 1978.
- Гулин—1998 — Гулин А.В.* Дело под Шёнграбеном в «Войне и мире» (Пути преобразования исторического материала) // Толстой и о Толстом. М., 1998.
- Гулин—2002 — Гулин А.В.* «Я всё ещё ратоборствую на Бородинском поле...» (П.А. Вяземский — прототип и критик «Войны и мира») // Толстой и о Толстом. Материалы и исследования. Вып. 2. М., 2002.
- Гулин—2004 — Гулин А.В.* Лев Толстой и пути русской истории. М., 2004.
- Гусев—1954 — Гусев Н.Н.* Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. М., 1954.
- Гусев—1957 — Гусев Н.Н.* Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. М., 1957.
- Гусев—1978 — Гусев Н.* Как работал Толстой // В мире Толстого. М., 1978.
- Давыдов—1832 — Давыдов Д.В.* Замечания на некрологию Н.Н. Раевского. М., 1832.
- Давыдов — Давыдов Д.В.* Сочинения Дениса Васильевича Давыдова. 4-е изд., испр. и доп. по рукописям автора. Ч. I—III. М., 1860.
- Г. Данилевский — Данилевский Г.П.* Историки-очевидцы // Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» в русской критике. Л., 1989.
- Данилевский—1839 — Михайловский-Данилевский А.И.* Описание Отечественной войны в 1812 году. Ч. I—IV. СПб., 1839.
- Данилевский—1844 — Михайловский-Данилевский А.И.* Описание первой войны императора Александра с Наполеоном в 1805 году. СПб., 1844.
- Де-Пуле — Де-Пуле М.Ф.* Война из-за «Войны и мира» // Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» в русской критике. Л., 1989.

- Ермолов* — Записки Алексея Петровича Ермолова. С приложениями. Ч. I. М., 1865.
- Жихарев* — *Жихарев С.* Записки современника с 1805 по 1819 год. Ч. I. Дневник студента. СПб., 1859.
- Заборова* — *Заборова Р.* Тетради М.Н. Толстой как материал для «Войны и мира» // Русская литература. 1961. № 1.
- Зайденинур* — *Зайденинур Э.Е.* «Война и мир» Л.Н. Толстого. Создание великой книги. М., 1966.
- Ищук-84* — *Ищук Г.Н.* Диалог с читателем. М., 1984.
- Камянов* — *Камянов В.И.* Поэтический мир эпоса. М., 1978.
- Клаузевиц* — *Клаузевиц Карл фон.* 1812 год. Поход в Россию. М., 2004.
- Кормилов* — *Кормилов С.И.* К проблеме исторической достоверности в «Войне и мире» Л.Н. Толстого // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1988. № 5.
- Краснов* — *Краснов Г.В.* Богучаровский бунт и его социально-исторические источники // Л.Н. Толстой. Статьи и материалы. V. Горький, 1963.
- Кузминская* — *Кузминская Т.А.* Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, 1976.
- Куприянова* — *Куприянова Е.Н.* О проблематике и жанровой природе романа Л. Толстого «Война и мир» // Русская литература. 1985. № 1.
- Кучин* — *Кучин В.Л.* Капитан Тушин из «Войны и мира» в романе и в жизни. М., 1999.
- Лажечников* — *Лажечников И.И.* Собр. соч. Т. 7. 1858.
- Лачинов* — *Лачинов Н.А.* По поводу последнего романа гр. Толстого // Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» в русской критике. Л., 1989.
- Лачинов 2* — *Лачинов Н.А.* По поводу последнего романа гр. Толстого // Военный сборник. 1868. № 8.
- Леонтьев* — *Леонтьев К.* Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л.Н. Толстого // Вопросы литературы. 1988. № 12 (I); 1989. № 1 (II).
- Лесков* — *Лесков Н.С.* Герои Отечественной войны по гр. Л.Н. Толстому // Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» в русской критике. Л., 1989.
- Лесскис* — *Лесскис Г.* Лев Толстой (1852—1869). М., 2000.
- Летописи—1938* — Государственный литературный музей. Летописи. Кн. II. Лев Толстой. М., 1938.
- Летописи—1948* — Государственный литературный музей. Летописи. Кн. XII. Л.Н. Толстой. Т. II. М., 1948.
- Липранди—1867* — *Липранди И.П.* Пятидесятилетие Бородинской битвы, или Кому и в какой степени принадлежит честь этого дня. М., 1867.
- Липранди—1867а* — Материалы для Отечественной войны 1812 года: Собр. статей И.П. Липранди. СПб., 1867.
- Лурье* — *Лурье Я.С.* После Льва Толстого. Исторические воззрения Толстого и проблемы XX века. СПб., 1993.
- Манаев—1970* — *Манаев Н.С.* Изобразительные источники «Войны и мира» (статья вторая) // Толстовский сборник. Тула, 1970.

- Манаев — Манаев Н.* За гранью невидимого. Калуга, 2002.
- Мармон — Мемуары маршала Мармона о Наполеоне и его времени.* М., 2003 (издание представляет собой пересказ мемуаров с частичным переводом отдельных фрагментов; о степени авторитетности издания говорит аннотация, предлагающая «своего рода авторизованный перевод»).
- Де Местр — Граф Жозеф де Местр.* Петербургские письма. 1803—1817. СПб., 1995.
- Мышковская — Мышковская Л.М.* Мастерство Л.Н. Толстого. М., 1958.
- Никитенко — Никитенко А.В.* Дневник. Т. III. М., 1956.
- Норов — Норов А.С.* Война и мир (1805—1812). С исторической точки зрения и по воспоминаниям современника (По поводу сочинения графа Л.Н. Толстого «Война и мир»). СПб., 1868; Отдельная брошюра из «Военного сборника» (1868. № 1).
- Переписка Тургенева — Переписка И.С. Тургенева:* В 2 т. М., 1986.
- Петерсон — Петерсон Н.П.* Из записок бывшего учителя // Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. I. М., 1978.
- Покровский — Покровский К.В.* Источники романа «Война и мир» // «Война и мир». Памяти Л. Толстого. М., 1912.
- Пузин — Пузин Н.* Портреты предков Толстого // Яснополянский сборник. Тула, 1962.
- РА — журнал «Русский архив».*
- Радужицкий — Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 год артиллерии подполковника И.Р. Т. I—IV. М., 1835.*
- РВ — журнал «Русский вестник».*
- РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства.*
- Рязанцев — <Рязанов А.> Воспоминания очевидца о пребывании французов в Москве в 1812 году (вышла без имени автора). М., 1862.*
- Савельева—2004 — Савельева В.В.* Поэтика и философия сновидений в романе Л. Толстого «Война и мир» // Русская словесность. 2004. № 5.
- Сегюр — Сегюр Ф.-П. де.* Поход в Россию. Записки адъютанта императора Наполеона I. Смоленск, 2003. (В 2002 году книга вышла в Москве, в издательстве «Захаров».)
- Скафтымов — Скафтымов А.* Образ Кутузова и философия истории в романе Л. Толстого «Война и мир» // Скафтымов А. Нравственные искания русских писателей. М., 1972.
- Соловьёв — Соловьёв Н.И.* Война или мир? // Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» в русской критике. Л., 1989.
- Страхов 1 — Страхов Н.Н.* Война и мир. Сочинение графа Л.Н. Толстого. Т. I, II, III и IV // Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» в русской критике. Л., 1989.
- Страхов 2 — Страхов Н.Н.* Война и мир. Сочинение графа Л.Н. Толстого. Т. V и VI // Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» в русской критике. Л., 1989.
- Страхов 3 — Страхов Н.Н.* Несколько слов к статьям о «Войне и мире» // Критические статьи об Тургеневе и Толстом. Т. I. Киев, 1901.

- Страхов—1914* — Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. СПб., 1914.
- Строгонов—2002* — *Строгонов М.В.* Об истории и современности. Читатели-современники о «Войне и мире» // «Война и мир» Л.Н. Толстого. Жизнь книги. Тверь, 2002.
- Тартаковский* — *Тартаковский А.Г.* Неразгаданный Барклай. М., 1996.
- А.К. Толстой* — *Толстой А.К.* Собр. соч.: В 4 т. Т. IV. М., 1964.
- Торчкова* — *Торчкова Н.* К вопросу о прототипах образа князя Андрея // Лев Николаевич Толстой. Сборник статей о творчестве. 2. 1959.
- Тьер—1856* — *Тьер А.* Из предисловия к XII тому «Истории консульства и империи» // Живописная библиотека. 1856. № 31.
- Урусов* — *Урусов С.С.* Обзор кампаний 1812 и 1813 годов, военно-математические задачи и о железных дорогах. М., 1868.
- Успенский* — *Успенский Б.А.* Поэтика композиции. М., 1970.
- Фет* — *Фет А.* Мои воспоминания. М., 1890 (Репринт 1992 г., издательство «Культура»).
- Фойер* — *Фойер К.Б.* Генезис «Войны и мира». СПб., 2002.
- Фортунатов—1983* — *Фортунатов Н.М.* Творческая лаборатория Толстого. М., 1983.
- Цион* — *Цион.* Un pessimiste russe (Граф Л.Н. Толстой как пессимист) // Булгаков Ф.И. Граф Л.Н. Толстой и критика его произведений. Ч. 2. СПб.; М., 1886.
- Шелгунов* — *Шелгунов Н.В.* Философия застоя // Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» в русской критике. Л., 1989.
- Шкловский—1928* — *Шкловский В.Б.* Матерьял и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир». М., 1928.
- Шкловский—1974* — *Шкловский В.Б.* Лев Толстой // Виктор Шкловский. Собр. соч.: В 3 т. Т. 2. М., 1974.
- Щербаков* — *Щербаков В.И.* Неизвестный источник «Войны и мира» («Мои записки» масона П.Я. Титова) // Новое литературное обозрение. 1996. № 21.
- Эйхенбаум—1928* — *Эйхенбаум Б.* Лев Толстой. Кн. 1. Пятидесятые годы. Л., 1928.
- Эйхенбаум—1931* — *Эйхенбаум Б.* Лев Толстой. Кн. 2. Шестидесятые годы. Л.; М., 1931.
- Эйхенбаум—1969* — *Эйхенбаум Б.* Черты летописного стиля в литературе XIX века // Эйхенбаум Б. О прозе. Л., 1969.
- Эйхенбаум—1969а* — *Эйхенбаум Б.* Творческие стимулы Л. Толстого // Эйхенбаум Б. О прозе. Л., 1969.
- Эйхенбаум—1974* — *Эйхенбаум Б.* Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1974.

Summary

L.I. Sobolev. A Guide to L.N. Tolstoy's Book 'War and Peace'. Part 1: a manual. Moscow: Moscow University Press, 2012.

The first part of the book covers the background story of War and Peace, specifies the genre peculiarities and describes Tolstoy's way of work with historical documents. It also contains Tolstoy's philosophy study guide and his contemporary authors' reviews of War and Peace.

The second part of the book features detailed comments to every chapter of War and Peace. The book also includes an archaism glossary and a list of recommended bibliography.

This is a book for teachers, graduates, students, philologists and audience of all ranges.

Key words: philosophy of history, Leo Tolstoy, sources, comments to the *War and Piece* novel

Учебное издание

Соболев Лев Иосифович

**ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КНИГЕ Л.Н. ТОЛСТОГО
«ВОЙНА И МИР»**

Часть первая

Редактор

Л.В. Кутукова

Обложка художника

Н.Н. Аникушина

Художественный редактор

Г.Д. Колоскова

Технический редактор

З.С. Кондрашова

Корректоры

В.В. Конкина, Г.Л. Семенова

Компьютерная верстка

С.Ю. Воронина

Подписано в печать 21.12.2011. Формат 60 × 90 1/16.
Бумага офсетная № 1. Гарнитура Таймс. Офсетная печать.
Усл. печ. л. 13,0. Уч-изд. л. 10,14. Тираж 1500 экз.
Заказ № 1901. Изд. № 8533.

Ордена «Знак Почета»

Издательство Московского университета.

125009, Москва, ул. Б. Никитская, 5/7.

Тел.: 629-50-91. Факс: 697-66-71.

Тел.: 939-33-23 (отдел реализации)

E-mail: secretary-msu-press@yandex.ru

Сайт Издательства МГУ:

www.msu.ru/depts/MSUPubl2005

Интернет-магазин: <http://msupublishing.ru>

Отпечатанно в типографии МГУ

119991, ГСП-1, г. Москва,

Ленинские Горы, д.1, стр.15

Школа

Издательство Московского университета
выпускает в серии

ВДУМЧИВОГО ЧТЕНИЯ

путеводители по следующим
произведениям:

Слово о полку Игореве

А. С. Пушкин. Евгений Онегин

А. С. Пушкин. Капитанская дочка

А. С. Грибоедов. Горе от ума

М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени

Н. В. Гоголь. Мертвые души

Л. Н. Толстой. Война и мир

И. А. Гончаров. Обломов

И. С. Тургенев. Отцы и дети

Н. А. Некрасов. Стихотворения и поэмы

Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание

Н. Щедрин. История одного города

А. А. Фет. Лирика

А. П. Чехов. Вишневый сад

В. В. Маяковский. Лирика

А. П. Платонов. Котлован

А. П. Платонов. Чевенгур

М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита

М. А. Булгаков. Белая гвардия

М. А. Шолохов. Тихий Дон

А. Т. Твардовский. Василий Теркин



Издательство
Московского
университета